

Кирилл Кобрин  
ТЕКТООБРАБОТКА



FlannO'BrienFlannO'BrienFlann  
O'BrienFlannO'BrienFlannO'Brien

КириллКобринКириллКобринКи-  
риллКобринКириллКобринКирилл



# ТЕКСТО ОБРАБОТКА

(исполнено  
Брайеном О'Ноланом,  
А.А. и К.К.)

<BUCHHANDLUNG>

ВОДОЛЕЙ  
МОСКВА  
2011

ББК 84(2Рос=Рус)6  
УДК 821.161.1  
К55

#\* \$% ^ & ~ № #\* \$% ^ & ~ № #\* \$% ^ & ~ № #\* \$% ^ & ~ № #\* \$% ^ & ~ № #\*

## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ (вместо инструкции по эксплуатации)

Агентство *A.M. Heath* от имени *Estate of Flann O'Brien* великодушно разрешило опубликовать в этой книге отрывки из сочинений Флэнна О'Брайена, а художник *Виктор Пивоваров* – использовать свои рисунки для ее оформления.  
**Спасибо им!**

Из-за двери слышались равномерные звуки станка.

«Война и мир»

Скука, чудовищная скука при чтении современной беллетристики стала причиной нижеследующего литературного предприятия. В то время как в изящных искусствах, а также музыке, драматическом и комическом жанрах, не говоря уже о синемаатографе и всевозможных областях, основанных на бинарной цифровой системе (как-то: видеоарт, компьютерные затеи и проч.), короче говоря – в то время, когда везде мы видим буйные побеги новой жизни, бурление идей и мелькание свежих образов с совершенно невозможной в старые времена скоростью, здесь, в прозе, все замерло. Уснуло, свернувшись в уютный клубочек, который читателю столь приятно гладить, отдавая за это дело свои кровные. Вообразите себе современного композитора, сочиняющего под Чайковского. Или современного художника, мнящего себя новым Ма(о)не. Место таковым в поселковой филармонии, на бойкой распродаже живописи в точках скопления туристов («миленький пейзажик, не правда ли, любимый?» «ах, да, дорогая!» «давай его купим и повесим на стенку в нашем гнездышке!»). В общем, время ушло. В ходу другое, чудовищное, механическое, немилое, грубое, сентиментальное, какое угодно – сложное, например.

ISBN 978-5-91763-084-7

- © К. Кобрин, 2011
- © Flann O'Brien, 1966
- © Flann O'Brien, 1967
- © А.Асланян (перевод), 2011
- © Издательство «Водолей», оформление, 2011

А в прозе все по-прежнему. Любовь, морковь, диалоги, сюжетные ходы, поистаскавшиеся, как сорокалетние группиз при героях хэви-металла. Даже, не побоюсь этого слова, описания природы. Или наоборот – смелые срывания покровов с так называемой «жизни»: правда-матка, свиноматка, шоколадка, аристократка скинула манатки. Кристально ясное зеркало, приставленное к нечистому копошению вещественности. Плоская радость узнавания: ого-го! да этот тип – вылитый Серега из соседнего двора! Ты помнишь, как мы с ним портвейн глушили под сырок, советский плавленый сырок, им заедал я портвешок. Тем отличается от Запада Восток. И вместе им не сойтись. В общем, в области человеческой деятельности, называемой «художественная литература», «проза», «беллетристика», все то же самое: романы под толстоевского или воингуэя (сэлиндгута тож), рассказы под чехочивера. В ходу маркес одиночества и по ком звонит трифонов. Апейт аддайка и опера «Набокко». Скучно, господа. Стыдно и скучно.

Несмотря на революционную деятельность в минувшем столетии группы психопатов, параноиков и тяжелых мизантропов (упомяну лишь самых известных: г.г. К., П., Д., Б., Х., В., Б., Р.-Г., были также замечательные дамы В.В., Г.С., Н.С.), в прозе все осталось по-прежнему: жуликоватые простодушные сочинители ее убеждены, что «литература» является отражением «жизни», что из той же самой «жизни» они черпают свои жалкие «сюжеты», что пухлые их творения кого-то учат, преподают урок простакам и укрепляют (или расшатывают, что то же самое) общественную мораль. За это писателей любят, показывают (ненадолго) в телевизоре, творения продают в магазинах, обсуждают на Амазоне и дают за все это деньги. Wow!

Фигня это все, дорогие друзья. Полная и безоговорочная фигня. Романчики эти скверно пошиты из предыдущих романчиков. А предыдущие – из пред-предыдущих. Чем больше «пред-», тем хуже скроены, небрежнее пошиты, безвкуснее украшены. Чтобы произвести на свет божий достойное

одеяние, надо иметь мужество признаться, что сделано оно не из облаков или платоновских архетипов, а из материи. Ткани. Пуговиц. Ниток. И чтобы пошить прекрасный костюм, надо обладать отличным воображением художника, тонким вкусом дизайнера и превосходным мастерством портного. Вот и писатель – тот, кто возится с текстами, а не с жизнью.

В этом смысле литератор должен понимать, что занят обработкой текстов – чужих и своих. Что сочинения он выгачивает, как говаривал князь Вяземский, «на ферстаке», в фартуке, как какой-нибудь масон, Фридрих II или Болконский-старший, усыпанный словесной стружкой, со стилем-рубанком в натруженных руках. Что не отражает он жизнь, как праздное зеркало на стене, а – уж простите за повторы – обрабатывает тексты. Текстообработчик он, наш честный литератор.

Авторы, принявшие участие в нижеследующей затее, по роду своих занятий – или по складу ума и течению жизни – отлично усвоили эту истину. Первый из них, ирландский писатель Брайен О'Нолан (он же Флэнн О'Брайен, он же Майлз на Гапалинь), всю жизнь занимался, собственно, текстообработкой. Будучи двуязычным, он превращал ирландскую традицию в английские книги («О водоплавающих», «Третий полицейский», «Трудная жизнь», «Архив Далки», сочиненные Флэнном О'Брайеном), английскую свифтовскую традицию – в ирландские книги («Поющие Лазаря» и ирландские фельетоны в «The Irish Times», написанные Майлзом на Гапалинь), в конце концов, он текстообработал собственный роман «Третий полицейский» в «Архив Далки», не говоря уже о газетных колонках, которые он – предвосхищая гениальный брежневизм «Экономика должна быть экономной» – слегка переделывал для того, чтобы напечатать в других изданиях. В помятом пиджаке, весь в лексических опилках, серо-синий от пьянства (мастеровые ведь изрядные пьяницы, не так ли?), он сошел в могилу в середине шестидесятых – и примерно в это же время появился на свет один из двух других наших

текстообработчиков, а именно тот, кто пишет сейчас эти строки. Но речь сейчас не о нем.

Второй (вторая) текстообработчик – А.А. – переводчик; именно ей принадлежит переложение второй главы «Третьего полицейского» Флэнна О’Брайена и эссе Майлза на Гапалинь “Buchhandlung” на русский. О нет, они не почтовые лошади просвещения, они ремесленники – и ремесленники высшей пробы. Текстообработчики Божьей Милостью – вот кто такие переводчики! Они пилят, строгают, вбивают гвозди, покрывают лаком, они трудятся не покладая рук, выдавая потребителю товар, то штучный, то поточный, то москвошвей, то индпошив – но вещи, от которых невозможно отмахнуться! Они, переводчики, произвели на русский свет те книги, что окружают нас от детства до гробовой доски, от «Маугли» до романов Агаты Кристи и пособий по правильному питанию в старости. Воспоем же им осанну и перейдем к моей скромной особе.

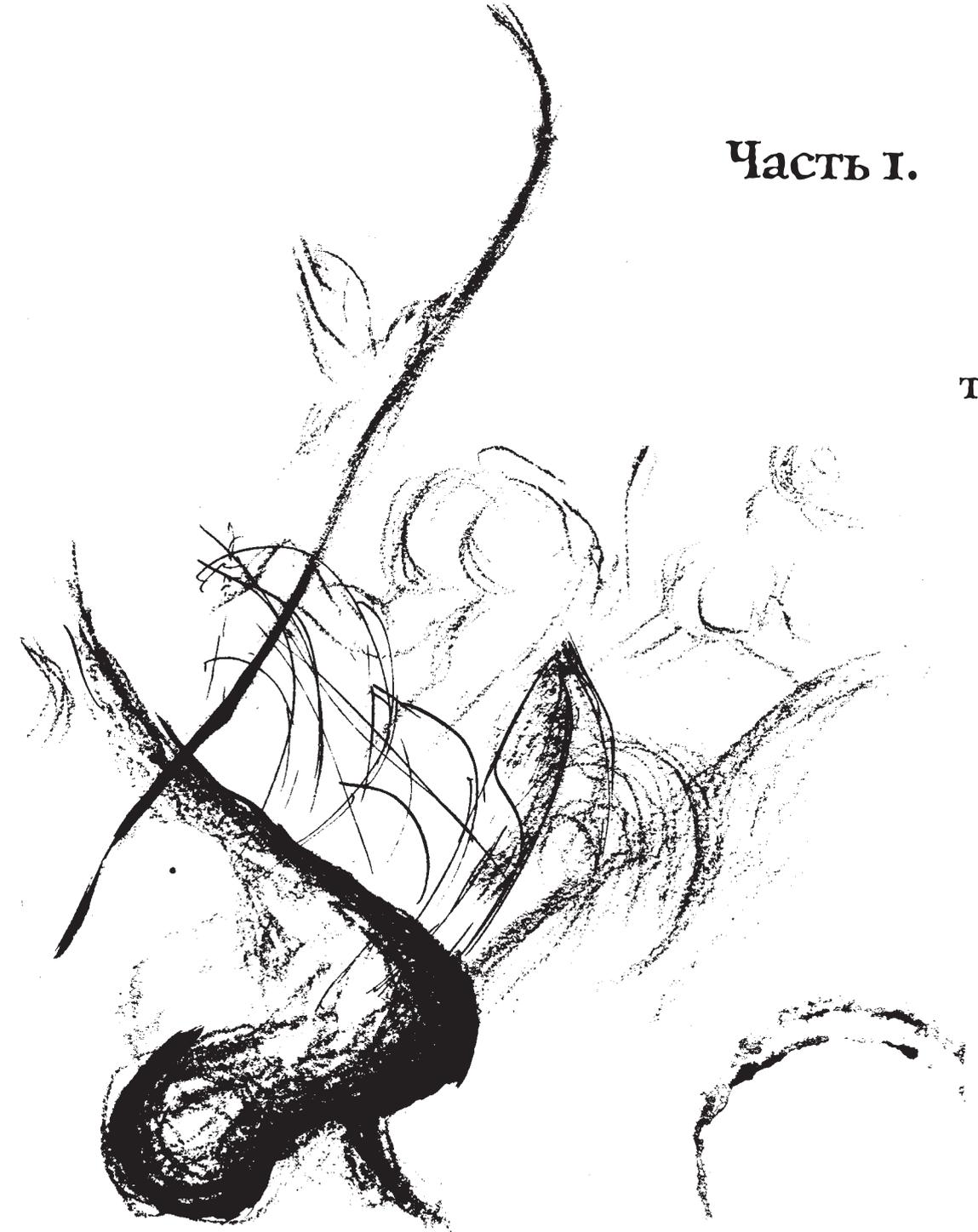
Я, К.К. – литератор. То есть, не то чтобы вот «писатель» и уж тем более – «романист», прости Господи. Нет. Просто литератор, да и то не шибко настоящий, ибо писанию явно предпочитаю чтение. Вот в последнем обстоятельстве и таится разгадка нижеследующей затеи. Читать гораздо интереснее, чем писать; сочинительство вообще занятие утомительное и даже постыдное – так почему бы не заменить письмо чтением? И что такое чтение, как не обработка читаемого текста? Исходя из этой неопровержимой истины, Ваш Покорный Слуга и принялся за дело. В результате получилось некоторое количество слов. Как увидит Просвещенный Читатель, это количество делится на три части; каждая из них состоит из текста Брайена О’Нолана (под каким бы псевдонимом он ни скрывался), обработанного русской клавиатурой А.А., и текста К.К., который превращает переведенного на русский ирландца в гражданина мира, пишущего на языке Вяземского и Гаспарова. Каждая из глав демонстрирует различные технологические походы к текстообработке; если эстетическая ценность

всего начинания может быть поставлена под вопрос, то методологическая – бесспорна. Пройдет несколько лет, я уверен, и каждая из нижеследующих глав будет подвергаться специалистами тщательнейшему разбору – и, конечно же, дальнейшей обработке.

Впрочем, хватит болтать. Истинные мастера немногословны. Засучим рукава – и за работу!

КК

05.08.2010



Часть I.

Способ  
текстообработки —

КОММЕНТИРОВАНИЕ

ФЛЭНН О'БРАЙЕН

«ТРЕТИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»\*

Глава 2 (начало)

*Де Селби мастер порассуждать на тему о домах<sup>†</sup>. Черда домов представляется ему чередой неизбежных зол. Измельчание и деградацию рода человеческого де Селби приписывает растущему пристрастию оного к интерьерам и угасающему интересу к искусству выходить на свет Божий с тем, чтобы там и остаться. Последнее, в свою очередь, видится ему следствием развития таких сфер деятельности, как чтение, игра в шахматы, пьянство, матримония и им подобных, большинством из каковых невозможно полноценно заниматься на природе. В другом сочинении<sup>‡</sup> у него встречаются следующие определения дома: «большой гроб», «лабиринт» и «ящик». Как не сложно заметить, возражения его относились главным образом к замкнутому пространству, ограниченному крышей и четырьмя стенами. Он приписывал не всегда целиком оправданные терапевтические качества – в основном легочного характера – определенным постройкам собственной конструкции, которые называл «обиталищами»; наброски их чертежей сохранились на страницах «Сельского альбома». По-*

# \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ &

\* Flann O'Brien, *The Third Policeman, Flamingo 1993*. Все переводы отрывков из трудов Флэнна О'Брайена сделаны Анной Асланян специально для этого издания.

† «Золотое время», ii, 261.

‡ «Сельский альбом», 1034.

стройки эти были двух видов: «дома» без крыши и «дома», лишенные стен. У первых имелись двери с окнами – широкие, распахнутые, – а поверху, для защиты от непогоды – чрезвычайно несуразная конструкция из брезента, свободно намотанного на балки. Все это вместе походило на затонувший парусник, возведенный на каменной кладке, а также – на место, где никому не пришло бы в голову держать и скотину. В другого рода «обиталищах» имелась традиционная шиферная крыша, зато отсутствовали стены, не считая одной, возводить каковую полагалось с наиболее ветреной стороны; по остальным же располагались неприменные брезентовые полотнища, свободно намотанные на валики, свисающие с водостоков на крыше; всю конструкцию окружали миниатюрный ров или яма, несколько напоминающие армейский нужник. В свете современных теорий жилья и гигиены несомненно то, что по части этих идей де Селби глубоко заблуждался. Тем не менее, в его времена, ныне столь отдаленные, в жилищах этих, опрометчиво последовав его совету в погоне за здоровьем, нашел свой конец не один больной\*.

\* Ле Фурньер, надежный источник французских комментариев (см. «De Selby – l'Enigme de l'Occident»), выдвинул относительно этих «обиталищ» любопытную теорию. Он высказывает предположение о том, что, работая над «Альбомом», де Селби прервался на каком-то трудном пассаже. Обдумывая его, он рассеянно предавался занятию, известному под названием «рисование каракулей», а после отложил свою рукопись в сторону. Взявшись за нее в следующий раз, он увидел перед собой скопление диаграмм и чертежей, каковые принял за планы особого рода жилища – того, что всегда представлялось ему в мыслях, – и тут же написал множество страниц с пояснениями к этим рисункам. «Никоим иным образом, – добавляет суровый Ле Фурньер, – столь прискорбный ляпсус объяснить невозможно».

## КОММЕНТАРИИ

*i* «ДЕ СЕЛБИ». Просто удивительно, сколько Selby находится прямо сейчас в нашем мире. В Сарасоте, штат Флорида, пыльным цветом цветут (см. перевод латинского названия этого штата) Ботанические сады Мэри Селби. Некая Джоанна Белл сочиняет умопомрачительные романы под псевдонимом, взятым из названия этих роскошных садов; среди сочинений Мэри Селби – «Крыло и молитва», вышедшее в британском издательстве “С-books”. Книгу, изданную в 1996 году, еще можно купить у букинистов за смехотворную цену в 61 пенс. Торопитесь!

Там, где цветет литература, неизбежно льется вино. В Калифорнии есть винодельня Selby Winery, названная в честь основательницы, Сюзи Селби. Сама Сюзи утверждает, что к нектару богов ее пристрастил отец: «От отца мне стало известно, что вино есть комбинация искусства, науки и природы». Прекрасно сказано, не правда ли? Де Селби был бы в восторге от этой фразы; впрочем, он поставил бы заглавные буквы: Искусства, Науки и Природы. Вот так, в стиле незабвенного XVIII века, чьим прямым потомком в натурфилософии был наш дерзкий и методичный мыслитель. Но вернемся к виноделию. В Selby Winery можно прикупить вполне приличный «Совиньон Блан», а розовый «Сира» напоминает знатокам провансальский «Бандоль». Весьма недурно, дорогой читатель, не правда ли? Наконец, в Портленде производят «Обувь Селби» (на наш непросвещенный взгляд, довольно уродливую), а в фильме «Монстр», где блистает неподражаемая Шарлиз Терон, столь же неотразимая Кристина Риччи играет ее любовницу по имени Селби Уолл. Но все это разнообразные «Селби» без благородной дворянской частички «де»: садовники, литераторы, виноделы, сапожники и лесбиянки. «Де Селби» – один, не считая, конечно, жалкой копии, сработанной неким Робертом

Энтоном Уилсоном, в романе которого великий философ (о ужас!) даже вступает в связь сексуального характера с бывшей любовницей Гертруды Стайн. Впрочем, чего ждать от человека, которого общество «Дискордианцев» провозгласило разом Епископом, Папой и Святым дискордианизма... Естественный шаг для людей, которые считают «порядок» и «хаос» иллюзиями одного уровня. Можно себе представить, что сказал бы на это сам де Селби!

*ii* «*Дома*». Нам ничего не известно о национальности нашего философа, однако будет не слишком смелым шагом предположить, что он – истинный сын ирландского народа. Как станет ясно из дальнейшего изложения, де Селби, мягко говоря, недолго любил такой феномен материальной культуры, как «дом». В этом можно услышать отголосок неистового руссоистского призыва, обнаружить влияние русского графа-землепашца и даже – провозвестие будущих грязноволосых хиппи 1960-х и орюкзаченных номадов 2000-х в широких штанах защитного цвета, снабженных многообразными вместительными карманами. Все это так (хотя бы отчасти), и все это ждет будущего исследователя – не чета тем графоманам, о которых рассказывает автор «Третьего полицейского». Между прочим, Александр Моисеевич Пятигорский, прочитав эту книгу за несколько месяцев до смерти, назвал ее «одним из немногих истинно философских романов XX века». Однако не оставим в стороне и серьезный историко-антропологический анализ взглядов де Селби.

Введем в наше рассуждение гипотезу: де Селби был ирландец. Тогда его «ангидомовый пафос» становится вполне понятен. Ирландцы до появления на острове хищных, жадных и жестоких англо-нормандцев городов не строили, постоянных жилищ тоже старались не заводить. У них были духовные центры, позже – монастыри, но все они представляли собой скопище низеньких хижин, амбаров – или лабиринты пещер в труд-

нодоступных местах. Идея постоянной жизни под крышей и внутри четырехугольника (многоугольника, овала, круга) стен представлялась древним ирландцам не только вздорной, но и опасной. Чтобы не быть голословными, позволим себе процитировать отрывок из древнего ирландского прозаического эпоса. История называется «Опьянение уладов», повествует она о борьбе этих самых уладов с племенем коннахтов, а также о том, что происходило между самими уладами, среди которых, кстати говоря, жил тот самый герой Кухулин, чьим фирменным боевым приемом был «бросок лосося из-под воды». Что значит этот лосось и как он бросался из-под воды, сказать сейчас не может никто, но в древние времена Кухулин, оснащенный таким гаджетом, был непобедим.

Однако мы позабыли о домах! Отрывок из «Опьянения уладов» звучит так: «И вот расположились улады для отдыха в том доме. Пришли к ним слуги и разожгли в доме огонь. Принесли им много еды и пива. Но по мере того, как приближалась ночь, слуги и виночерпии потихоньку по одному выходили из того дома, а последний из них незаметно вышел прочь, заперев за собой дверь. И тогда дом опутали семью железными цепями, а дверь приперли семью каменными столбами, что ранее лежали вокруг на зеленом лугу. Трижды по пятьдесят кузнецов собрались со своими мехами, чтобы раздувать огонь вокруг дома. Три круга заграждений сделали вокруг дома, и огонь стал разгораться со всех сторон, так что непереносим стал жар снаружи и внутри дома». Итак, дом – ловушка, куда заманили отважных уладов, напоили их пивом, чтобы потом зажарить на предательском огне. Счастье, что с уладами был Кухулин, он-то быстро справился с преградами и все закончилось к вящему удовольствию хороших парней. Но философ демократической эпохи, когда уже нет героев, подобных метателю лосося из-под воды, должен задаться вполне резонным вопросом: «Если доблестные улады, предводительствуемые самим Кухулином, еле вырвались из ловушки под названием “дом”, то обычный добрый ирландец, какой-нибудь Патрик или Пэдди, он-то точно заживо изжарится на кострах врагов?». Вот отсюда у де

Селби и берет начало сокрушительная критика обычая строить полноценные дома; здесь наш философ продолжает древнюю национальную традицию. Разве иностранцу, какому-нибудь Ле Фурньеру, дано понять это?

*iii* «Зло». Проблема «зла» в рассуждениях насчет де Селби завуалирована, судя по всему – намеренно. И действительно, в «Третьем полицейском» описана ситуация «преступления и наказания», только не в морально-психологическом контексте и совсем не с христианской точки зрения, а с какой-то совсем иной, заставляющей вспомнить аналитическую философию и даже Людвиг Витгенштейна. Герой, совершивший убийство и одержимый жаждой денег, попадает в странные ситуации, каждая из которых представляет собой неразрешимую логическую загадку, чаще всего сводящую с ума своей параноидальной последовательностью. В этом мире нет ни добра, ни зла – лишь логика рассуждения и простейшая метафизика, мастером которой, как мы видим, и был де Селби. Что это? Логический ад? Или царство Зла, куда мы, чуть что, ослабив оборону, мгновенно погружаемся? Вот совершенно несправедливый вопрос, который задает себе любой чуткий читатель «Третьего полицейского». Однако не будем заранее раскрывать карты. Обратим внимание на это, казалось бы, вполне невинное выражение «неизбежное зло», промелькнувшее в рассуждении об отношении де Селби к домам. Если оставить в стороне банальное, вульгарное, профанное значение этого словосочетания, то мы оказываемся в мире самого настоящего гностика. Обычный человек, даже обычный христианин считает Зло злом (с маленькой буквы), какой-то мерзкой нечистью, вроде крыс или тараканов, которая заводится там, где ощущается нехватка Добра. Зло – возникает при нехватке Добра, и ничего больше; более того, стоит присыпать Добром почву, пораженную злом, и все будет

хорошо – дуст Добра непременно выведет паразитов зла. Зла *можно избежать*. Гностик думает совсем по-иному. Для него зло есть Зло, и оно неизбежно, как дома в рассуждении де Селби. Зло столь же онтологично, как и Добро, оно в своем праве; более того, его стоит уважать так же безусловно, как и Добро. Последнего, кстати говоря, довольно мало в нашем мире, и его позиции следует защищать не покладая рук. Что, собственно говоря, де Селби и делает в случае с домами. Как предстоит обнаружить просвещенному читателю, наш философ, прекрасно понимая всю злокозненность построек со стенами и крышей, все-таки не отказывается от *всего* с ними связанного; он безусловно уважает это самое *неизбежное зло* как один из двух главных столпов нашего мира, оттого и предлагает компромиссы один комичнее другого. Комизм рационализаторских затей де Селби кроется в природе человеческой глупости и недомыслия, а не в основаниях его суровой монолитной мысли. «Великий гностик» – вот как следовало бы его называть, даже, пожалуй, «Великий Гностик Метафизики»; любые, самые превосходные степени не могут описать всего восхищения и даже преклонения, которое испытывают истинные знатоки перед отважным философом.

*iv* «Деградация». Этот неожиданный поворот мысли ставит под вопрос все написанное и подуманное нами о де Селби. «Измельчание», а тем более «деградация» – понятия совсем не из арсенала ни истинного гностика, ни настоящего метафизика. Здесь мы сталкиваемся с мифологическим сознанием в самом чистом, незамутненном виде. Предполагается, что некогда человек имел счастье жить в Золотом веке, за которым последовал уже не столь блестящий, но все равно замечательный век Серебряный, за Серебряным наступил Бронзовый, который можно счесть даже вполне ничего, приличным,

несмотря на серьезные пороки его и явное ухудшение общей обстановки. Из какого века де Селби рассуждает о современной ему деградации? Из «Железного»? «Свинцового»? «Деревянного»? Сложно сказать. Очевидно одно: либо философ намеренно вводит нас в заблуждение касательно собственных взглядов (а мы и рады клюнуть на сию приманку!), либо в его мировоззрении есть некий запасной вариант мироздания, который включается, когда два других по каким-то причинам теряют напряжение. Скажем, подкачал вариант «гностицизма», а в «метафизике» внезапно сдох источник питания. Вот тогда-то на поверхность и всплывает рассуждение о деградации рода человеческого, совершенно невозможное при работе остальных версий философии де Селби.

С другой стороны, можно предположить, что идею «деградации» мыслитель вводит в качестве неправдоподобной гипотезы, чтобы, обсуждая ее, лишний раз продемонстрировать свой богатейший аналитический инструментарий, а потом с блеском отвергнуть собственное же утверждение. Сказать сложно, так как в дальнейшем изложении эта тема вообще не появляется – отсюда у меня возникла еще одна версия. Не исключено, что перед нами – намеренная цитата из неизвестного нам (или обобщенного) античного автора, что де Селби вдруг решил поупражняться в историзме, вообразив себя философом эпохи позднего эллинизма, когда в хождение было пущено немало самых причудливых философских и религиозных концепций – чего стоит скандальная идея «непорочного зачатия», придуманная где-то на Ближнем Востоке и окончательно сформулированная уже греческими авторами. Наконец, можно предположить, что де Селби примеряет на себя мушкетерский плащ одного из героев известного романа Александра Дюма-отца – того самого сильно пьющего графа, носящего в качестве псевдонима название греческой горы; этот герой как-то заметил: «мы – карлики на плечах титанов». Специалист по средневековой литературе тут же укажет на истинный источник этой сентенции, но мы, будучи людьми

светскими, не будем мучить читателя дальнейшими изысканиями в цветущих дебрях истинной учености.

**V «СВЕТ БОЖИЙ».** Ура! Мы возвращаемся к гностической идее онтологичности Добра и Зла, каждое из которых имеет даже некую – свою – территорию. Согласно де Селби, любой дом есть территория Зла, область Добра начинается за порогом, там, где царствует Свет Божий. Отметим также совершенно томистское уподобление Света Божьего, который есть не что иное, как Разум и Истинное Знание, территории безусловного Добра. Этим, кстати, объясняется и – на первый взгляд, совершенно старомодный – просветительский пыл де Селби; мы-то думали, что перед нами метафизик в вытертом сюртуке начала XIX века, а оказалось, что он – последователь Аквината... Каков наш философ!

**Vi «ЧТЕНИЕ».** Антикультурный пафос роднит де Селби с Руссо, и это ставит еще один вопрос, но уже не о, собственно, философии нашего мыслителя, а о его стратегии – как мышления, так и поведения. На что он вообще рассчитывал, этот де Селби? Кем он хотел стать? Маргинальным любителем порассуждать на разные темы? Подпольным философом, которого изумленное человечество откроет уже после его смерти – и содрогнется от ясности и провидческой силы позабытого гения? Властителем дум? Идеологом? Вот последний-то вариант и представляется самым вероятным. Нет-нет, де Селби не мечтал о лаврах, увивающих марксов серп и энгельсов молот, он думал, конечно же, о великом мастурбаторе, педагоге, публицисте, пропагандисте теории «общественного договора». Он чистил себя под Руссо – да так тщательно, что вычистил все намеки на возможное родство душ с автором «Новой Элоизы». Нам же остается лишь реконструировать ярост-

ный руссоизм де Селби по случайным намекам вроде этого.

**vii** «ИГРА В ШАХМАТЫ». Совершенно непонятно, почему де Селби считает игру в шахматы занятием, которому можно предаваться исключительно в четырех стенах. Прежде всего, напомним о существовании старинной мифологической традиции, согласно которой герои (или даже боги) играют в шахматы (или в похожую на шахматы игру) под открытым небом; более того – некоторые из них в качестве фигурок используют живых людей, чаще всего – воинов. Не стоит забывать и о почтенной культурной практике, согласно которой великие полководцы разыгрывают не сражение, а шахматную партию; теория эта вызывала живейшее недовольство Льва Толстого, однако трудно отказать ей в верности хотя бы в отдельных исторических случаях. Военное искусство Запада с некоторых времен тяготело к «шахматной форме» – кампании вели немногочисленные профессиональные армии, где каждый солдат был дорог и находился на особом учете. Оттого полководцы «эпохи кондотьеров» XV-го века или «войн за европейские наследства» XVIII-го предпочитали решать исход войны искусным маневрированием, а уж если дело доходило до сражения, то нередко бывали случаи, когда противники, трезво взвесив все сильные и слабые стороны друг друга, единодушно присуждали победу наиболее достойному. Это разумное человеколюбивое ведение войны было, увы, отвергнуто, как только в ход большой истории вмешались народы. Свергнув законные монархические режимы, французы, итальянцы, немцы заявили о необходимости вооружить граждан, о больших национальных армиях, о необходимости возложить сотни тысяч жертв на алтари свободы. Воистину, где является Свобода, там кончается мирная, разумная, тихая жизнь! О, как мы сегодня понимаем Шатобриана, Жозефа де

Местра и даже политическую публицистику Тютчева!!! Где те блаженные времена, когда священнослужители молились и блудили, дворяне сражались и блистали, а простой народ трудился на ниве прогресса, приращения материального достатка и создавал нехитрые творения здоровой крестьянской и городской культуры? Где?!

**viii** «ПЬЯНСТВО». Грегоровиус (“Fugas rerum, securaque in otia natus”) решительно проводит различие между «пьянством в четырех стенах» и «пьянством под открытым небом». Первое характеризуется им как «отвратительное порождение мещанской цивилизации», во втором он видит «прекрасный обычай наших предков». Отсутствие должного количества кислорода в помещении, где доблестные мужи и их прекрасные подруги предаются возлияниям, оказывает на них, согласно этому просвещенному автору, прискорбное воздействие: «их нутряные жилы сжимаются, стягиваются, кровеносные сосуды лопаются, отчего на носу (и по всему лицу, увы, тоже) проступают багровые пятна». Общая затхлость атмосферы, изобилие молекул перегара и тяжелых испарений от возбужденных тел приводит к тому, что пьянствующие перестают замечать вкус вина, прихлебывают его слишком часто, бездумно, не дожидаясь здравниц, произносимых вождами, бардами и старейшинами. Так зарождается социальный беспорядок, который потом выливается в отрицание существующего строя, революции и прочие пагубные последствия. Грегоровиус отмечает также негативное влияние «пьянства в четырех стенах» на общественную мораль в области отношений между полами. Будучи охвачены похотью, пьянствующие совершают прелюбодеяния прямо здесь, у пиршественного стола, на глазах у почтеннейшей публики, которая сопровождает сие одобрительными или уничижительными ремарками, несдержанными

выкриками, издевательскими советами, а также непристойными жестами. Эти жесты настолько поражают воображение представителей подрастающего поколения, что некоторых из них совершенно невозможно оторвать – когда тому приходит срок – от материнской груди; бедные малютки норовят спрятаться от ужасов грубого мира взрослых за телом матери. Это сообщение, увы, совершенно ускользнуло от Зигмунда Фрейда, который намеревался посвятить специальную работу психоаналитическим аспектам этих двух видов пьянства, однако тяжелая болезнь, сведшая его в могилу, не дала реализоваться планам великого ученого.

Что же до «пьянства под открытым небом», Грегоровиус находит в нем все те добродетели, которые являются оборотной стороной возлияний в закрытом помещении. Особенное внимание он обращает на природные ландшафты, расстилающиеся перед глазами тех, кто неторопливо осушает свои кубки, бокалы, стаканы и рюмки на свежем воздухе. По мнению исследователя, величие и покой Природы внушают пьянствующим мысль о собственной причастности к Божьему Творению и отбивают всякое желание осквернить случайным совокуплением (один русский переводчик дал любопытный вариант этой формулы: «осквернить внеплановым перепихоном») высокую гармонию земли и неба. Грудные младенцы также довольно быстро отвлекаются от источника своего наслаждения и питания, они во все глаза наблюдают полет птиц, прыг-скок кузнечиков, они следят глазами изгиб травинки, шевеление листа на вековом дубе, прислушиваются к шелесту тучной нивы, волнуемой легким ветерком. В библиотеке де Селби (см. ее подробное описание, сделанное по заказу Сведенборговского общества: «De Selby: Liber, Librarium, Librium») хранится затрепаный экземпляр “Fugas regum, secugaque in otia natus” Грегоровиуса, однако, когда мы имеем дело с нашим философом, сложно установить точную причину такого физического состояния того или иного издания (проблема обращения с книгами подробно разбирается в колонке известного в свое время ир-

ландского фельетониста Майлза на Гапалинь, озаглавленной *Buchhandlung*. Отсылаю просвещенного читателя к ней). Сие может быть как следствием простодушного предпочтения, отдаваемого хозяином библиотеки именно этой книге, так и плодом хитроумного плана, целью которого является ввести в заблуждение окружающих и потомков. Но нас-то на мякине не проведешь, не так ли, дорогой читатель?

**IX «МАТРИМОНИЯ»** (см. «пьянство»). Все имеющее отношение к пьянству напрямую связано с матримониальными узами. Браки, рождение и крещение детей, поминки по супругам – все сопровождается потреблением разнообразных хмельных напитков. В свою очередь, их неумеренное потребление в четырех стенах ведет к несдержанному проявлению сластолюбия, которое, в конце концов, оборачивается браками, рождением и крещением детей, а также поминками. Круг замыкается – точно так же, как замкнуты стены настоящего дома. Так что де Селби прав – впрочем, как всегда.

**X «БОЛЬШОЙ ГРОБ»**. Сложно сказать, на какое именно прочтение рассчитывал де Селби. С одной стороны, уподобление «дома» «гробу» глубоко укоренено в европейской, особенно христианской, культурной традиции. В доме живут живые, в гробу обитают мертвые. Первые объективно стремятся (и неумолимо движутся!) к тому, чтобы переехать в обиталище вторых. Вторые – если следовать за христианским учением – ждут-не-дождутся, чтобы переселиться из гроба куда-то еще, в окончательное жилище, где бы оно ни находилось, в Раю или в Аду (или уж, на худой конец, в Чистилище, которое, впрочем, тоже есть временный вариант прописки). Иными словами, и «дом», и «гроб» – не вечны; даже в атеистическом сознании могила есть промежуточное состояние перед окончательным

растворением в Природе. Получается, что для де Селби нет оппозиции «постоянный дом»/«временное убежище от непогоды и холода», его возмущение и холодную ненависть вызывают лицемеры, считающие «дом» чем-то устойчивым, феноменом социального и экзистенциального успокоения и довольства. От этой позиции нашего философа так и несет самым оголтелым романтизмом. Вот за это мы и любим де Селби – благонамеренный просветитель оказывается метафизиком, почтенный метафизик оборачивается яростным руссоистом, руссоист – просто-таки байронической личностью.

С другой стороны, протест против «дома-гроба» можно рассматривать как еще одно проявление вечной тяжбы де Селби со смертью. «Дом» провонял смертью – вот что хочет сказать мыслитель; давайте проветримся на свежем воздухе, глядишь, тогда мы будем жить вечно. Кажется, никто столь аргументированно и страстно не опровергал принцип, лежащий в основе нашего отношения к смерти и бессмертию; ведь мы по обыкновению считаем, что «построенное на века» есть преодоление конечности человеческого существования. Древние египтяне городили свои пирамиды, эти дома мертвых, чтобы отвергнуть саму идею исчезновения (или уничтожения); в новейшее время не сыскать более резкого и убедительного критика высокомерных фараонов, чем де Селби. Пирамиды – следы, которые оставляет смерть в человеческом мире, и только жизнь за пределами стен может вылечить нас от неизлечимой болезни исчезновения. Дай де Селби волю, он снес бы всю эту каменную рухлядь, где бы она ни находилась – в Египте или Мексике. Думаю, что даже к идее воспетого поэтами «нерукотворного памятника» он относился с заслуженным подозрением.

**Хі** «*ЛАБИРИНТ*». До нас дошло бесценное свидетельство служанки де Селби – записки некоей Дженни Коннор; точнее, даже не «записки» (женщина была неграмотна), а записанные поклонником философа Эндрю Беллом ее

рассказы о том, как был устроен быт в доме нашего героя. Не удивляйтесь, да-да! в «доме»! Надеюсь, читатель не разделяет вульгарной идеи о так называемом «практическом применении» философских постулатов в повседневной жизни. Нет ничего более глупого, чем считать, что, скажем, Сократ на вопрос одного из учеников «Где мы сегодня собираемся?» отвечал согласно известной своей максиме: «Я знаю, что ничего не знаю!», а в ответ на недоуменный взгляд юноши добавлял: «Но я знаю больше других, ибо они не знают и этого!». Боюсь, в таком случае великий философ пил бы свою цикуту в полном одиночестве. Или представим, как Вольтер, прогуливаясь по Парижу, бросается на первого встречного аббата или кюре, низвергает его на мостовую и принимается приплясывать на поверженном теле, деловито бормоча «Раздавите гадину... раздавите гадину...». В конце концов, если «ад – это другие», то почему Сартр так охотно проводил в аду кафе на бульваре Сен-Жермен свою жизнь?

Иными словами, нет ничего удивительного в том, что известный ненавистник домов де Селби жил в доме, причем собственном. Это был коттедж на западе Британии, в Уэльсе, около небольшого городка Абериствит. Дом достался ему по наследству; более того, все скромные доходы философ тратил на поддержание своего обиталища в идеальном порядке. Бедная Дженни проводила сутки, пытаясь обнаружить и уничтожить пыль в самых потаенных закутках коттеджа, медные ручки надраивались до немыслимого блеска каждый Божий день (де Селби, будучи весьма религиозным в быту, разговаривал со служанкой почти исключительно библейскими цитатами). В остальном он был скромнен. Вставал в восемь часов утра и пил кофе (континентальная привычка, которой он обзавелся в юности во время трехдневного пребывания в Париже в рамках Grand Tour. Недруги утверждают, что другой вещью, которой обзавелся де Селби в столице всего изящного, была неприличная болезнь, навсегда отвадившая его от интимных отношений с противоположным полом, однако мы не будем

тратить драгоценное время на опровержение нелепых домыслов. Заметим только, что путешествовал будущий философ в сопровождении дядюшки, который, подарив племяннику возможность изучить великое культурное наследие континента, благородно защищал его от всех возможных искушений большого города. Иными словами, юный де Селби ни на секунду не исчезал из виду старшего родственника; они никогда не расставались: ни в Лувре, ни в Версале, ни в «Мулен-Руж», ни в знаменитом борделе на рю Бонапарт, описанном в бессмертном анонимном путеводителе “Pariformication”). После чего философ выходил на ежедневную прогулку к берегу залива Святого Георгия. Дорога его проходила мимо Абериствитского колледжа Университета Уэльса; каждый раз, обходя это эдвардианское здание, де Селби смачно плевал в его сторону и отворачивался. В записках Дженни Коннор, увы, нет никаких объяснений такому поведению; можно лишь предположить, что злостное непризнание академическими философами его вклада в сокровищницу мысли огорчало нашего героя: уж кто-кто, а он-то знал и истинный масштаб собственной личности, и цену своим воззрениям! К тому же, Коннор утверждает, что эта ежедневная процедура успокаивала несколько раздраженные (утренним кофе, этим дьявольским напитком лягушатников, по мнению невежественной служанки) нервы де Селби и настраивала его мысли на нужный лад. И действительно, дойдя до абериствитской набережной, философ обычно садился на скамейку и – при любой погоде! – задремывал. Освежившись дневным сном, мыслитель направлялся в паб «Корабль и Замок», где подкреплял силы двумя-тремя пинтами прекрасного местного эля. Здесь же де Селби наблюдал местные нравы и черпал вдохновение для своих книг. Не исключено, кстати говоря, что идея злокозненности домов пришла ему в голову именно в «Корабле и Замке»: имеются свидетельства того, что он вел долгие разговоры с фермерами, специализировавшимися на разведении овец. Все знают, что скотоводство было исконным сельскохозяйственным занятием валлийцев, которые – будучи вынуждены на лето отгонять скот на горные

пастбища – не очень ценили уют постоянных жилищ, до которых они, впрочем, вообще не были большими охотниками. Как и в Ирландию, в Уэльс обычай возводить дома с крепкими стенами принесли англо-нормандские оккупанты, отсюда и подозрительность местных жителей (истинных патриотов!) к гражданской и военной архитектуре. Впрочем, сегодня валлийцы с лихвой отомстили захватчикам: дерут непомерные деньги за осмотр замков и церквей, построенных их, туристов, предками. В результате высокомерный и грубый англичанин расплачивается за жестокости, совершенные на валлийской земле разными Монтомгери, Клари и Фицджеральдами. Справедливость торжествует.

Но мы забыли нашего де Селби! Вот он расплачивается у стойки и бодрой, хотя несколько нетвердой походкой выходит на абериствитскую улицу. Путь его снова пролегает мимо колледжа, однако, занятый собственными мыслями, философ не обращает на него ни малейшего внимания: он что-то бормочет себе под нос, издает неясные восклицания, иногда даже насвистывает залихватскую мелодию. Прогулка явно укрепила его силы и дала пищу для размышлений. К тому же, дома его ждет и пища материальная: Дженни хлопчет на кухне, аромат йоркширского пудинга наполняет коттедж. Давайте воспоем интеллектуальное мужество нашего героя – обитая в столь уютном доме, полном милых черт давно ушедшей старины, он в своих сочинениях отринул все это ради дерзкой попытки соревноваться с самой Смертью!

Свежий морской воздух, йоркширский пудинг в сопровождении непременно пинты-другой портера, заинтересованное обсуждение с мисс Коннор состояния домашнего хозяйства – все это размягчало суровые черты лица де Селби и настраивало его на более снисходительный лад. Дженни вспоминает тонкие шутки философа и непринужденные розыгрыши, которыми он любил развлекать ее. К сожалению, служанка не приводит ни одной из острот, не рассказывает она и о том, в чем состояли эти невинные проказы. Обо всем этом нам остается только догадываться, смиренно склоняя голову

перед великим «не дано знать!». Так или иначе, утомившись веселой возней, де Селби отправлялся подремать в гостиную, служившую ему и библиотекой, и кабинетом. Дженни тихонько прикрывала дверь комнаты и отправлялась на кухню – мыть посуду и готовить чай. Наш философ явно не был согласен со Львом Толстым, считавшим послеобеденный сон «серебряным», а дообеденный – «золотым». Де Селби, мыслитель отважный и не боявшийся авторитетов, дерзко бросил вызов русскому графу-моралисту, пустив в хождение в своей жизни и серебряную, и золотую валюту разом. И он преуспел в этом! «Трудно даже передать, – повествует Дженни Коннор, – насколько деловым и энергичным был хозяин, когда я тихонько вносила в гостиную поднос с чаем и ромом». Философ приветствовал служанку коротким восклицанием, спускал ноги с дивана (одна из любопытных привычек его заключалась в том, что он снимал башмаки и верхнюю одежду только перед отходом к ночному сну – да и то не всегда) и подходил к столику, где уже были сервированы его любимые напитки. Да, он пил кофе по утрам – в знак уважения к Вольтеру, Руссо и Огюсту Конту, – но в другое время суток только чай мог согреть его и вернуть остроту мысли. Дженни не жалела дров, чтобы в коттедже было тепло (и даже иногда получала нагоняй от хозяина за расточительство), но де Селби все равно мерз – оттого добавлял ром в ароматный настой чайных листьев. Иногда это не помогало, и он переходил на чистый ром, способствуя тем самым процветанию хозяйства далеких стран Западного полушария.

Вечера де Селби проводил дома. Он сидел у пылающего камина, погруженный в собственные мысли: ноги вытянуты к огню, одна рука подпирает голову, другая вольно свисает, глаза полужакрыты, а то и вовсе закрыты. За окном шумит ветер, Дженни отправилась навестить кузена в соседнюю деревню, чай в чашке остыл, ром выпит. Ничто не мешает работе мощного ума – и ничто так не возбуждает аппетит, как созерцание очага. Де Селби встает и нерешительно, держась за мебель, отправляется на кухню. Увы! холодными остатками пудинга

уже беззаботно лакомится кузен Дженни, в буфете пусто, не считая баночек с крупой и сахаром. Лучшее средство против голода есть сон, благоразумно решает философ и идет в спальню. Холод донимает его, оттого он отказывается от идеи снять пальто и ложится в кровать прямо так, сделав предварительно несколько глотков из бутылки виски, припрятанной под подушкой (не вводи в искушение малых сих! Де Селби, неукоснительно следуя этому правилу, старался избавить служанку, эту слабую – как всякая представительница прекрасного пола – женщину, от прямого контакта с алкоголем. «Социальная ответственность», – так бы мы сегодня назвали высокие принципы поведения мыслителя). Уже через несколько минут коттедж наполняется звуками, обычно сопровождающими сон нашего утомившегося джентльмена.

*Xii* «Ящик». Ящик был вынесен штормом на берег в понедельник утром, а уже во вторник о происшествии знала вся округа. Дело было так. Мальчик, который обычно собирал камушки на пляже (его посылал туда отец-ремесленник, изготавливавший из местной гальки вполне изящные украшения; в сезон их охотно раскупали туристки), обнаружил новехонький ящик, казалось, совсем не пострадавший от стихии. Он попытался его открыть, однако поверхность была настолько гладкой, а доски так ловко пригнаны одна к другой, что сорванец не нашел ни одной щели, чтобы просунуть туда лезвие своего перочинного ножика. О, этот ножик был его гордостью, мне хотелось бы когда-нибудь рассказать его историю: о том, как мальчугану пообещали подарок за хорошие оценки в школе, как он смог уговорить одноклассника написать за него контрольную работу, как учительница, проверив ответы, не смогла сдержать слез, и пришлось воспользоваться не очень чистым носовым платком, как одноклассник потребовал расчета сразу после триумфального урока, но был нещадно бит и ушел восвояси,

ничего не получив, как наш герой вернулся домой и гордо положил тетрадь с оценкой на грубый деревянный стол, сколоченный отцом сразу после выхода из тюрьмы, куда он попал за ничтожную провинность, тоже мне правосудие, как тот же самый отец дрожащими руками лихорадочно листал страницу за страницей, пока не нашел искомое, как мать обняла своего сынулю и сказала, что, наверное, он пойдет в университет и станет врачом, как отец возразил, что, мол, не врачом, а адвокатом, как вспыхнула ссора, которую пришлось унимать воплем «Ножик-ножик-ножик-ножик-ножик!!!!!!», как отец в сердцах швырнул тетрадь на стол и отправился в соседний ломбард менять бусы, изготовленные им из гальки, на перочинный ножик, заложенный по пьяни ловцом устриц, как он вернулся и вручил приз мальчугану, а тот потом, задыхаясь от счастья, бежал по берегу и кричал во весь голос: «Дураки! Дураки! Дураки!», но я не буду ничего этого рассказывать, так как речь идет о ящике, а не о ножике, и вообще, с критическим реализмом давно покончено. Итак, открыть ящик не получилось, и за дело взялись взрослые. Чего только не пошло в ход! Ножи, топоры, молотки, зубила; один моряк даже попробовал несговорчивый предмет на зуб, после чего сказал: «Важное дерево, однако». Все тщетно. После того, как загадка оказалась – в прямом смысле этого выражения – не по зубам народным массам, за дело взялось образованное сословие. Местный аптекарь извел на ящик несколько мензурок зловонной жидкости, но она стекала по идеально ровной поверхности, не оставляя никаких следов. Офицеры полиции расстреливали загадочный предмет из табельного оружия, но пули отскакивали от него, будто от титановой брони новейших лимузинов. Пытались его и взрывать, но ничего, кроме грохота и воронок на берегу, где проводились испытания, из этого не вышло. За властью светской последовала духовная. Ящик окуривали благовониями, над ним читались про-

поведи, его возносили и проклинали – все тщетно. Он стоял – новехонький, идеально ровный, загадочный и самодостаточный. На остров зачастила пресса, Биби-си прислала сюда своего корреспондента, который пообещал вернуться через пару месяцев со съёмочной группой и подарками для местных жителей. Впрочем, своего обещания он не сдержал. То ли не нашлось денег на изготовление очередного занимательного солидно-британского документального фильма, где презентер (по возможности, известный актер, скажем, Стивен Фрай) поведает публике обо всем, что необходимо знать по столь важному и любопытному поводу, то ли просто о ящике забыли. Скорее всего, последнее. На острове начался туристический сезон, повалили розовотелье алкоголики-британцы, доброжелательные брюхатые русские со своими стервозными подругами, шумные немцы, молчаливые скандинавы, пьющие не меньше британцев и русских, но как-то незаметно, учтиво для окружающих, и стало не до удивительной находки. Ящик отнесли в дом начальника полиции; хозяин распорядился поставить его в угол одного из многочисленных сараев, забитых старыми велосипедами, инвентарем для парусных гонок и прочей курортной парафернацией. После чего о нем забыли, забыли навсегда. А зря. Однажды ночью ящик открылся, сам по себе, безо всякой помощи; внутри него лежала огромная книга в сафьяновом переплете, на обложке огромными светящимися буквами было выведено «Де Селби». Если бы кто-нибудь открыл эту магическую книгу, то обнаружил бы, что она состоит из чистых листов бумаги. Ни слова, ни буквы, кроме тех, что горели серебряным светом на обложке. Но, как я уже говорил, этого никто не видел.

*Xiii* «ПРОСТРАНСТВО». Как заметил уже, наверное, читатель, философия де Селби строится вокруг понятия «про-

странства»; «время» же наш мыслитель совершенно блистательным образом игнорирует. Это можно объяснить самыми разными способами, приведя множество противоречащих друг другу резонансов – а можно ограничиться одним, но самым сокрушительным доводом. Де Селби ненавидел время. Для него не было большого врага, философ не только никогда не носил часов и не имел их в доме, он не выносил самого их присутствия. Немногочисленные друзья и (увы) еще более немногочисленные поклонники его сочинений старались убирать все приборы, измеряющие время, при первом же приближении мэтра. Если де Селби звали в гости, первым делом хозяина было проверить, не оставил ли кто брегет на каминной доске, не раздастся ли предательский бой, приглушенный дверцей шкапа, куда сослали дедовские еще часы с кукушкой, которая, впрочем, уже давно откуковала свое и лежит, безгласная, в ящике с игрушками, оставленном младшим отпрыском благородного семейства по выходе из поры детства. Да, интересно было бы узнать, где сейчас та кукушка, ловко вырезанная из хорошего дерева мастером в далеком немецком городе, куда в старые-добрые времена (ушедшие, черт возьми, так далеко!) приплывали корабли со всего мира и где в порту толпились довольные разноязыкие матросы: их уже окружали местные красавицы, наскучившие обществом земляков и сограждан: на лицах радость встречи, ожидание праздника, в дыхании толпы уже завелся неслабый такой спиритуоз, на набережной играет оркестр, мальчик из хорошей семьи тербит папу за рукав и спрашивает: «Папа! Папа! Почему эти тети не оделись как следует? Им же холодно!», но отец фамилии не отвечает, а только пытается отвлечь внимание мальчика на обезьянку, которой потешает почтеннейшую публику одноногий загорелый кок (мало ему попугая на плече!). Но вернемся к визиту де Селби. Вот он сидит в гостях, жаркое съедено, портвейн вы-

пит, сонное добродушие витает в воздухе. Хозяйка уже не хлопочет возле стола, а томно перебирает клавиши фортепьяно, модная в этом сезоне песенка наигрывается ею с изящным простодушием селянки, хозяин пускает колечки из своей трубки, наш мыслитель дремлет. Его алый нос опущен на тщедушную грудь обитателя философских эмпирий, глаза полузакрыты, левая рука, упрямо держащая пустую рюмку, подрагивает. Ничто, кажется, не может вернуть его к беседе, коей он с наслаждением предавался еще каких-нибудь десять минут назад. Время действительно не присутствует в этой картине, оно не то чтобы спрятано в шкаф или засунуто в ящик комода среди вороха розовых атласных панталон милой хозяйки (а какой там стоит запах лаванды! О, эти простые нравы старины!), нет, его просто нет. Здесь существует только пространство, которое можно измерить сантиметрами и метрами – скажем, расстояние между креслом, где мирно посапывает де Селби, и буфетом, который осторожно открывает хозяин, чтобы достать оттуда заначенную верную бутылочку ямайского рома, равняется трем метрам и семнадцати с половиной сантиметрам, если считать от одной ножки до другой. Но чу! услышав предательское позвякивание бутылки, извлекаемой из-за стопки тарелок, наш философ мгновенно стряхивает с себя сон, вот он уже во всеоружии и готов продолжить дружескую беседу, хозяйка уступает несколько старомодной (но столь милой!) мужской солидарности и отправляется наверх, проверить, улеглись ли дети. Впереди долгая ночь, ночь разговоров о пространстве жизни, не испорченном влиянием злокозненного времени.

*xiv* «КРЫША И ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ». Мы намеренно опускаем имевшие хождение несколько лет назад темные слухи о том, что причиной ненависти, которую испытывал де

Селби к сочетанию четырех стен и крыши, были долгие годы, якобы проведенные им в одном из исправительных учреждений. Но раз уж мы завели этот разговор, следует заявить раз и навсегда: это наглая ложь. Как известно, современная пенитенциарная система строится на идее трудового перевоспитания преступников, причем труд этот должен быть физическим. Мы пропустим легкую возможность поставить под сомнение плодотворность этой гипотезы, заметив только, что ничего более идиотского, чем ручной труд (например, вскапывание грядок или таскание на плечах мешков с мукой), представить себе невозможно. Как бессмысленное напряжение мышц, сопровождаемое глухой усталостью и нарастающим раздражением, может превратить убийцу или мошенника в законопослушного гражданина? – ответить на этот вопрос не решится никто. Мы тоже – потому отойдем от этой загадки, оставив ее разрешение будущим поколениям. Итак, де Селби не любил ручной труд и никогда не осквернял им своих рук. Если, как утверждают его недоброжелатели, он провел многие годы в каторжных работах, то где тогда его сноровка? его мозоли? его трудовые мышцы? Многочисленные свидетельства говорят о том, что ничего подобного у нашего философа не наблюдалось. Он был невероятно тщедушен, не умел забить гвоздя в стену и с радостью уступал радость таких ремесел, как Столярное и Слесарное Дело, Электричество, Саперные Работы, другим – более опытным – согражданам (и даже иностранцам). Никто никогда не видел де Селби с лопатой или молотком в руках! Столь же нелепым выглядит предположение, что, мол, мыслитель провел свои тюремные годы в качестве секретаря начальника исправительного заведения. Ложь, говорю я вам, гнусная ложь! Дело в том, что де Селби рассматривал писание от руки (и тем более печатание на машинке) как наилучшую из разновидностей физического труда; риску

даже сказать, что он испытывал сильнейшее отвращение к нанесению букв на бумагу вообще. Многие помнят его знаменитый клич «Хватит переводить бумагу!». В этом можно углядеть не только (и не столько) проявление вполне оправданной для нашего перипатетика и оратора подозрительности к начертанному слову – нет, здесь явно брезжит иной смысл. Де Селби, безусловно, был одним из тех, кто понял необходимость нового, экологического мышления; его призыв имеет такое же отношение к проблеме защиты амазонских джунглей, как и к недовольству фактом фиксации на бумаге бессмысленной болтовни. «А как же его многочисленные труды?» – спросите вы. «Полно, а писал ли он их?» – ответим мы вопросом на вопрос. Да, существуют книги, подписанные именем де Селби, но разве является это доказательством того, что он их в действительности сочинил? Неужели вы думаете, что столь великий человек, этот мощный подвижный ум, мог произвести на свет нелепые убогие сочинения, смысл которых ускользает даже от самых искушенных комментаторов и интерпретаторов? Ответьте мне, господа! Нет ответа.

**XV «ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА».** Надо сказать, наш философ уважительно относился только к людям несокрушимого физического здоровья. Мы не знаем, исповедовал ли он известный принцип «в здоровом теле – здоровый дух», как не знаем и того, занимали ли его вообще вопросы, связанные с моралью, духовностью и так далее. По крайней мере, никаких следов рассуждений де Селби на эти темы (а ведь он мог поразмышлять о них, не так ли?) в известных нам его сочинениях не наблюдается. Воспоминания Дженни Коннор пестрят историями о том, как ее хозяин высказывался по самым разным вопросам Бытия, но этики (как, впрочем, и эстетики) он – если верить бедной неграмотной служанке (и ре-

дактору мемуара Беллу) – никогда не касался. О чем же любил поразглагольствовать де Селби? Прежде всего, его занимало состояние винокуренной и пивоваренной промышленности как собственной страны, так и ее соседей. Дженни не раз слышала сетования по поводу недостаточной, по мнению де Селби, крепости его любимого рома; претензии адресовались не только ямайскому правительству, но и мировой общественности в целом; не забывал он Лигу Наций, Коминтерн и даже Ватиканские соборы (в последнем можно усмотреть проявление невероятной религиозной толерантности, свойственной философу. Будучи воспитан в протестантской среде, он, как мы видим, с большим интересом относился к католицизму, не говоря уже о ремарках в адрес буддизма, которые приходилось слышать миссис Коннор. Например, стоило запропасться какой-либо вещи, к которой привык философ – портсигару или паре шерстяных носков, – как тот принимался изрыгать проклятия в адрес некоего «блябуды», который пожирает все, на что только падет его злобный взгляд. Очевидно, что де Селби имел в виду концепцию «Пустоты», «Нирваны»; конечно, он трактовал ее намеренно вульгарно и упрощенно, чтобы и Дженни могла присоединиться к философскому разговору). Другой излюбленной мишенью для деселбиевских критических стрел был дублинский завод, где изготавлился знаменитый портер «Гиннесс». Мыслитель был великим охотником до этого напитка, причем с первого же глотка умудрялся определить степень густоты портера и выверенность действий фабричной смены, ответственной именно за эту бутылочку или пинту. Здесь философ не знал снисхождения. Он – с присущим ему энциклопедизмом – припоминал ирландскому народу все прегрешения перед Богом и прогрессом, которые тот совершил. В его тирадах вспыхивали такие блестящие истинной учености, как рассуждения о друидах и филидах, о знаменитом «бегстве вождей», о распространении

картофеля на Зеленом острове, даже некоторые литературоведческие ремарки по поводу слабых мест сочинений Синга, Йейтса и Джойса. Впрочем, к литературной части своих инвектив де Селби приступал уже, что называется, на взводе и в подпитии, оттого ирландских литературных героев он именовал исключительно по имени, да еще и грубовато-шутливо. «Джонни-лапоть», «Трепач Билл», «Тупой Сэм» – комментаторам пришлось покорпеть, прежде чем они смогли разглядеть за этими прозвищами (наивная миссис Коннор считала, что речь идет об ирландских рабочих – собутыльниках де Селби) литературных титанов с соседнего острова.

Другой важной темой в рассуждениях де Селби о различных аспектах, даже феноменах, Бытия была характеристика климата – как местного, так и на всем земном шаре. Говоря современным языком, наш философ был противником теории изменения климата; он считал, что «херовая погода» онтологична для Британии, а «солнце, море, бляди и маракасы» есть столь же неизменная основа жизни к югу от Женевы (других населенных пунктов за пределами Соединенного Королевства и Ирландии он никогда не называл). Тут следует вспомнить один курьезный случай. Дженни, которая не знала о существовании латиноамериканского перкуссионного музыкального инструмента, передала Беллу его название как «марксы». Так, собственно говоря, и напечатано в книге мемуаров служанки: «солнце, море, бляди и марксы» (из соображений благопристойности, третий член этого определения был заменен на «неблагородные леди»). Некоторые исследователи увидели здесь выпад против набиравшего тогда силу международного коммунистического движения (сюда же отнесли и упоминавшиеся выше претензии в адрес Коминтерна по поводу недостаточно высокого качества ямайского рома). Самые упорные из ученых даже выдвинули теорию о «тотальном метафизическом консерватизме де Селби», основывая ее не только на инвективах против, якобы, основоположника марксизма, но и на образе жизни самого нашего мыслителя, который один из интерпретаторов,

Тюдор Кантли, назвал «стилизацией под самого заурядного сельского алкоголика». Другой исследователь, скрывшийся под рэперской кличкой Zee Nick, отправился за разъяснениями к директору лондонского центра марксистской литературы, располагающегося в том самом доме, в котором знаменитый русский политический изгнанник XIX-го века Герцен читал своей юной поклоннице стихотворение другого политического эмигранта, Владимира Печерина, «Как сладостно Отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья!». Между прочим, этот самый Печерин стал потом католическим монахом и закончил свои дни в Дублине, исполняя обязанности капеллана в больнице для бедных. Герцен же пережил семейную драму, которая – по некоторым данным – стала причиной его разрыва с Карлом Марксом. Так или иначе, центр марксистской литературы разместили именно в этом доме, и Zee Nick провел несколько недель, пытаясь найти в книгах хоть какие-нибудь намеки на де Селби. Тщетно. Но все-таки толк от его изысканий был. Прочитав отчет о результатах тщательного изучения книг марковского центра, другой комментатор сочинений нашего философа, профессор Нирбок, обнаружил на последних страницах знаменитого интеллектуального издания, где оно было напечатано, объявление о продаже коллекции перкусии, вывезенной некоей А. из Карибского региона («Продаю тамбурины, конги, бонги и маракасы. Состояние хорошее. Самовывоз из Уимблдона»). В слове «маракасы» почтенный еженедельник, славящийся своими неукротимыми корректурами, допустил-таки опечатку, выпустив вторую и третью «а». Нирбока немало позабавило присутствие автора «Капитала» среди экзотических названий; «сбылась мечта идиота о всемирной революции», – пробормотал он, и тут профессора осенило. Ну конечно же! «Маракасы», а не «марксы» – что же еще может быть рядом с солнцем, морем и блядьми! Странники теории «метафизического консерватизма» были посрамлены, выскочка Zee Nick поставлен на место, а уже через пару месяцев на прилавках самых изощренных книжных магазинов появилась еще теплая, пахнущая типографской краской книга

Нирбока «Еще раз о блядях и маракасах. Де Селби: краткий очерк жизни и творчества».

*XVI* «СЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». «Сельский альбом» издавался несколько раз, и все печатные версии настолько отличаются друг от друга, что целый ряд исследователей называет их «разными книгами». Конечно же, нет недостатка в защитниках того или иного издания; не стихает полемика вокруг роскошного тома Guttenberg Press, где каждый из деселбиевских набросков целомудренно прикрыт листочком папиросной бумаги, и карманной книжечки из нашумевшей серии «Великие идиоты XX века», выпущенной в полуподпольных типографиях Per Anum Domini, – в ней наш философ соседствует с Алистером Кроули, Жоржем Переком, Даниилом Хармсом и Дейлом Карнеги. Критики люксового варианта «Сельского альбома» справедливо указывают на принципиальную скромность его автора, напоминая, что в своем собственном доме тот вообще не держал никаких книжек, считая это непозволительной роскошью. «Башкой надо думать, собственной, а не книжонки читать!» – так, если верить тандему Коннор-Белл, любил говаривать де Селби. Защитники Guttenberg Press указывают на то, что ни Гомер, ни Овидий, ни Данте не рассчитывали на сафьяновый переплет и мелованную бумагу. Они отмечают, что выпуск столь богато изданного и прекрасно иллюстрированного «Сельского альбома» привлечет к одному из главных сочинений нашего мыслителя читателя из высших кругов общества, финансовой и поп-культурной элиты; а что может быть важнее, чем просвещение и смягчение нравов хозяев жизни? Кто знает, быть может, посмотрев на небрежные рисунки де Селби, на его наброски, в которых можно при желании угадать и проекты строений, и обнаженную натуру, и даже графики ежемесячного потребления спиртных на-

питков обитателями Абериствита, менеджеры крупных компаний, футболисты, поп-дивы и министры внутренних дел задумаются о смысле собственной деятельности, об общественном благе – наконец, просто об эстетическом стержне нашего бытия, который, следуя Оскару Уайльду, следует рассматривать в качестве главной этической опоры современного мира. В этот спор недавно вмешались экологи, поставив под сомнение нужность «бумажного издания» «Сельского альбома» вообще – мол, вполне достаточно специального сайта, посвященного этому – довольно темному – сочинению де Селби. Но здесь уже запротестовали защитники прав малюток и борцы с детской порнографией – ведь, как стало очевидно после нашумевшей статьи русского культуролога Н.З. Калины-Ильина, некоторые из деселбиевских набросков изображают полуголых, в каких-то лохмотьях, детей, гоняющихся за голубями. Была даже устроена специальная кампания под названием “Say No to The Children of Devolution!”, призывающая избавить Всемирную Сеть от «грязных артефактов похотливого старика». В свою очередь, любители и знатоки жизни и творчества де Селби указали на два важнейших, по их мнению, обстоятельства. Прежде всего, невозможно определить, *что именно* изображено на этих рисунках. К тому же, очертания детей (пожалуй, одного и того же ребенка) действительно можно угадать на некоторых из них, но, как неоспоримо свидетельствует изучение пивных и портерных этикеток деселбиевских времен, это дитя просто срисовано (и довольно неумело) с ангела, украшающего собой бутылки с “Finnegans Ale”. Что же до голубей, то они в самом большом количестве населяли обои дома самого философа: в некоторых местах, сетует Дженни, обои отклеились, в частности, над креслом, где проводил львиную (ex ungue leonem!) долю своего свободного времени мыслитель. Получалось так, продолжает служанка, что их куски свисали над

головой де Селби, обойный рисунок оказывался у него перед глазами, голуби буквально парили перед усталым взором философа. Если же учесть, что чаще всего в такие минуты он держал в руках маленькую бутылочку “Finnegans Ale”, то комбинация из птиц и обнаженных детей в его экспрессивных набросках не удивительна. Есть и другая школа, увидевшая в этих набросках совсем иное – парусный корабль, очутившийся в центре самой неистовой бури, что, по мнению этих ученых, очевидно доказывает знакомство де Селби с рассказом Эдгара По «Низвержение в Мальстрем». Неожиданным подтверждением такой точки зрения стало наличие у По другого сочинения – «Падение дома Ашеро́в»; если слово «дом» взять в значении «строение с четырьмя стенами и крышей», то идея того, что «дом» этот «пал», не могла не встретить сочувственного внимания де Селби. Впрочем, как уже говорилось выше, никаких книг философ дома не держал, в библиотеку записан не был, более того, по словам мисс Коннор, никто никогда не видел его читающим – в том числе и произведения великого американского мрачняги. В общем, как говорили древние, experientia fallax, iudicium difficile.

Что до другого – карманного – издания, то здесь, конечно же, сомнения вызывает название серии, в которой вышел «Сельский альбом». Почитатель де Селби вполне резонно возопит: «Почему “идиот”? Пусть “великий”, но все же...». Обиду этих людей понять можно – никто ведь не называет бранным словом философов прошлого, отличавшихся некоторыми странностями в поведении, скажем, Диогена, того же Руссо, Ницше, Витгенштейна или Косолапова? Однако, – тут же возражают сотрудники Per Anum Domini, – слово «идиот» взято здесь в совершенно ином значении; в качестве примера они приводят главного героя известного романа Достоевского. «Если вам не нравится князь Мышкин, значит, вам не понравится де Селби. Просто это не ваша чашка чая». Кстати говоря, из этой дискуссии родилась – будто Афина Паллада во всеоружии из головы

Зевса, будто прекрасная Афродита из морской пены – новая книжная серия издательства под названием “Your Cup of Tea”. В ней печатаются самые сложные авангардистские произведения последних ста лет: романы Роберта Вальзера, дневники Леона Богданова, расходные книги Питера Гринуэя времен создания фильма “The Falls”, недавно найденная рукописная биография Греты Гарбо, сочиненная Уильямом Берроузом. Публика встретила новую серию с энтузиазмом, чего не скажешь о критиках, которые предпочитают листать гладко написанную беллетристику, а не погружаться в запутанные лабиринты самых необычных умов XX-го столетия.

Что же до «Сельского альбома», то он издан Per Anum Domini дешево, но очень аккуратно. Все рисунки де Селби приведены; более того, две трети книги представляют собой комментарии разных исследователей, пытающихся расшифровать эти изображения. Такое издательское решение получило поддержку даже тех, кто сомневался в необходимости печатания столь, по их словам, «несовершенной книги совершенного идиота XX-го века». Дело в том, что в «Сельском альбоме» почти нет текста. Мы уже видели, какие интерпретационные сложности рождают рисунки де Селби, мы еще обнаружим, насколько эти сложности станут трудноразрешимыми от того, что философ лукаво не снабдил изображения своими пояснениями. Откуда Ле Фурньер взял «множество страниц» в этом сочинении (см. сноску \*) – пусть останется на совести француза. В рукописи «Сельского альбома» есть, конечно, пометки, но они, на первый взгляд, носят исключительно бытовой характер: «Четыри фунта Тому» или «Росписка в банке». Все эти загадочные фразы досконально приведены в карманном издании «Альбома», но здесь чувствуется, черт возьми, нехватка текстологического комментария и анализа специалиста по дипломатике. Впрочем, желающие могут обратиться к академическому «Сельскому альбому», увидевшему свет около пятнадцати лет назад. Там любитель точного объективного позитивистского знания попадает в настоящий рай – над опусом трудились лучшие специалисты Северной

Америки и Британии. Однако и эта книга не лишена недостатков: так как она вышла «под покровительством Архиепископа Ротундского», то, естественно, это издание не содержит рисунков, ибо они могут навести читателя на греховные мысли. Иными словами, лучше всего читать «Сельский альбом», имея под рукой сразу три перечисленных книги. Среди других изданий главного сочинения де Селби отметим странное начинание Центра Научной Антиурбанистики при Европейской Комиссии (ЦНАпЕК); в напечатанной на его средства книге нет ни рисунков де Селби, ни немногочисленных его текстов, ни даже научных комментариев. Книга состоит из эссе самих сотрудников ЦНАпЕКа, посвященных приятности и полезности жизни на лоне природы. Фамилия де Селби в самом томе не упоминается ни разу – только на обложке.

*XVII* «**ДЕРЖАТЬ СКОТИНУ**». Петр долго возился с балкой, с которой брезент не хотел разматываться ни за какие коврижки, впрочем, какие брезент может любить коврижки? брезентовые? Петр представил себе мир, состоящий исключительно из брезентовых вещей: брезентовые автомобили, брезентовые компьютеры, брезентовые цветы, брезентовые дома. Черт, он же уже две недели жил как раз в брезентовом доме, точнее – в доме с брезентовой крышей. Еще точнее – в доме, где крышу заменял кое-как натянутый брезент. Стоило подуть ветру (а дул он в этих краях всегда), стоило Петру хотя бы неудачно расправить над домом (тоже мне, дом без крыши!) проклятущее полотнище (а он не расправлял его удачно никогда), как над головой открывался кусок неба, в зависимости от времени суток то серо-облачный (солнца здесь не бывает), то черный, освещенный сбоку ядовитым лимонным светом. Слава Богу, дождей не было, однако и вечный холод, и беспокойство, что сверху все-таки ливанет, и ледяное молчание Тани, и, наконец, ожидание какого-

то Mr. Tellme или Mr. Sellby (он не запомнил в самом начале, когда их только поселили в этой пыточной камере, а потом имя Того, Кто Придет, не произносили, довольствуясь местоимением мужского рода третьего лица единственного числа) – все это довело его до состояния внутренней лихорадки: руки дрожали, ноги подкашивались, что было очень некстати во время очередной попытки как следует раскатать брезент над головой. Да и она могла бы подсобить, хотя бы один разочек! Вместо этого Таня валялась на огромном диване в полном обмундировании (джинсы, серый свитер, оранжевый шарфик, вязаная небесно-голубая шапочка, салатовые перчатки, на лице – толстый слой крема, губы блестят от тройной порции гигиенической помады, в глазах – тупое безразличие к его жалким попыткам раскатать полог над их же (их же!) ложем). Надо сказать, что назвать это ложе «их» было преувеличением – это сначала он строил планы соблазнения партнерши по архитектурно-социальному эксперименту: скажем, ночью рука, будто бы невзначай, оказывается у кромки ее одеяла, затем, если тихонько стянуть с кисти перчатку, начинает пробираться в жаркую пещеру под одеялом (должна же она быть жаркой, черт возьми! Ведь у этой девки температура тела такая же, как и у него, примерно тридцать шесть и шесть, а у него под теплее, чем над – и значительно теплее). Итак, предположим, что пододеяльная ее пещера жарка. Но что делать дальше – после того, как рука освоится, согреется как следует и продолжит свое змеиное вползание? Ведь за одеялом еще: 1) джинсы, 2) свитер; под джинсами – трусики (вряд ли она обходится без даже столь ненадежного и жалкого в рассуждении утепления, но все-таки покрова), под свитером – майка и (не исключено, так ведь?) лифчик. Снять все это одной рукой, делая вид, что спишь, стараясь не разбудить жертву, – миссия для виртуоза, каковым Петр никогда не был. Он и на

гитаре-то не смог научиться играть – каждый новый аккорд ставил перед его нелепыми толстыми короткими пальцами совершенно непосильную задачу. ОК. Может быть, тогда просто без обиняков предложить девушке перепихнуться, все равно же в этом чертовом сарае делать совершенно нечего? Конечно, и он, и она, отправляясь на трехнедельное испытание, захватили с собой учебники – ведь идея-то заключалась в том, чтобы без помех подготовиться к экзаменам, срубив немалое количество бабла, которое организаторы эксперимента пообещали добровольцам. О да! Шуму было много. В их университет пришли рекрутеры и стали петь соловьем, мол, новое слово в архитектуре, мистический метод изучения прошлого, революционные методики, надо прожить 21 день в странном жилище, придуманном каким-то перцем чуть ли не сто лет назад (или пятьдесят, какая разница), и дожидаться, когда он сам, собственной персоной, или, скорее, дух его, явится туда и объяснит, зачем он всю эту хрень придумал. И придумал ли он ее вообще. И что он написал в книге с идиотским названием «Сельский альбом». И писал ли он вообще эту книгу. И кто он был на самом деле. В общем, вопросов следовало задать множество, когда этот то ли Tellme, то ли Sellby заявится полюбоваться воплощением своей архитектурной мечты. Спонсором проекта был некий ирландец, удалившийся от дел чиновник, баловавшийся сочинением мистических брошюрок (пара из них, «Дай-ка архив!» и «Душезачточка», валялись в этом помещении, но ни Петр, ни тем более Таня их в руки не брали): он искренне верил, что за идеей дома без крыши (в отличие от другого завирального проекта упокоившегося сто – или пятьдесят, неважно – лет назад джентльмена, дома с крышей, но без стен) не только будущее, но и настоящее. Дело было за немногим: построить такой вот объект, поселить там подопытных кроликов и заманить в него

дух автора идеи. Вот тогда-то он расскажет, что имел в виду, и даст советы, как заполнить наш дивный новый мир домами без крыш. В общем, ничего из этого не вышло – не из засады на дух Tellme-Sellby (так как формально оставалась еще неделя), а из эротических поползновений правой руки Петра (Таня всегда лежала на огромном ложе, занимавшем большую часть единственной в доме комнаты, справа от него). Задать ей прямой вопрос о возможности мимолетного обмена телами он не решился – уж больно стервозный был у Тани вид, да и представить себе копошение двух навьюченных одеждами тел было не шибко приятно. Что снять? Что оставить? В каком виде потом бежать в душ? Что делать в следующую ночь? То же самое? Что-то другое? В таком ворохе тряпок сложно представить что-либо иное, нежели хлопково-шерстяной секс с выборочным контактом избранных участков тел. «В общем, не трах, а слабый перепихон», – вспомнил он забавное словечко из прочитанной недавно книжки, в которой один парень оказался в похожей ситуации, однако с крышей там все было в порядке – с крышей дома, где он лежал, умирая от неразделенной любви, рядом с какой-то телкой, у которой с крышей как раз был полнейший швах. В общем, та бескрышная деваха сжалилась над страдальцем и устроила ему единственный сеанс передергивания затвора, но это было там, в книге, да и не этого хотел Петр от своей случайной партнерши по странному эксперименту. Чего же он хотел от нее? Любви, что ли? С милым и в шалаше рай? В общем, он промолчал, она тоже не подала виду, никто за две недели так и не объявился, они ели, спали, отгородившись друг от друга айподами, одеждами, бесстрастными взглядами, они почти не разговаривали, да и о чем говорить в таком собачьем холоде, где согреться можно только в душевой кабинке, которая даже не кабинка, а саркофаг, крышку которого

открываешь, быстро помещаешься там, волна тепло-влажная, волна горячая, волна холодная, волна сухая, после чего как угорелый выскакиваешь оттуда и, скача на одной ноге, судорожно натягиваешь штаны, носки и прочее обмундирование. До секса ли тут? До любви ли? ... И тут – в первый раз за все время заключения в проклятом узилище – ему удалось как следует натянуть брезент на каркас. Он не верил своим глазам: стоило напрячь руку, потянуть угол брезента к себе, как ткань становилась гладкой, ни одной морщинки, вечный сквозняк сверху прекращался, уже за несколько мгновений наличия настоящей брезентовой крыши воздух обретал даже какую-то плотность, обещая тепло, хотя бы относительное, возможность жить, читать, думать, соблазнять девушек, словом, спокойно протянуть еще неделю, чтобы выйти отсюда, получить свои пять тысяч и свалить на неделю на море, да, это было начало совсем новой, уверенной, не продуваемой всеми ветрами жизни, и в тот самый момент наивысшего ликования дверь проклятой халупы открылась, и внутрь ввалился тщедушный человечек, еле стоящий на ногах. Он затормозил, встал, пошатываясь, шмыгнул носом и – увидев на тумбочке «Дай-ка архив!» и «Душезаточку» – заорал чудовищным, каком-то загробным голосом: «Башкой надо думать, собственной, а не книжонки читать!». От неожиданности Петр выпустил угол брезентового покрытия из рук.

*xviii* «**КОНСТРУКЦИЯ**», «**РОВ**», «**АРМИЯ**», «**НУЖНИК**». История «селбианской гармошки» еще ждет своего исследователя, хотя основные факты хорошо известны уже сейчас. Движение физкультурников, получившее это странное музыкальное название, зародилось вокруг одной из авангардных архитектурных студий, которые возникли сразу после начала упадка Баухауза. Сначала

и речи не было о том, что в проектируемых зданиях могут быть использованы человеческие тела – термин *body* использовался исключительно метафорически, обозначая некоторый объем, который следует заполнить строительным материалом. Оттого первым названием нового течения архитектурной мысли было странное слово *bodyism*. Однако уже через несколько месяцев стало ясно: одними условными единицами и формальными обозначениями не отделаться. Ведь речь шла о том, чтобы воплотить идею некоего полусумасшедшего философа, который – будучи движим странной прихотью – предлагал строить дома двух видов: со стенами, но без крыши, и с крышей, но без стен. Любое завершённое строение, имеющее квадратную, прямоугольную, овальную, коническую, любую другую замкнутую форму, вызывало его живейшее отвращение; руководитель архитектурной студии Ван Хойтен объяснял это «разорванностью сознания европейца, пережившего Великую Войну». Архитектору было невдомек, что наш философ не только не участвовал в Великой Войне, она его просто не интересовала, ни в малейшей степени...

Так или иначе, сотрудники студии приступили к выбору проекта. Проектировать и строить разом и бескрышный, и бесстенный дома представлялось неразумным – из-за ограниченности ресурсов, да и по идейным соображениям. Дом, лишенный крыши, представлялся нашим авангардистам существующим «согласно вертикальной парадигме»: возможность в любой момент лицезреть небо, хотя бы кусочек его, явно намекала на религиозную составляющую всего проекта. Ничто не было столь враждебно авангардистам-архитекторам, как постыдный клерикализм и, не побоюсь этого слова, кантианство («вот мой категорический императив!»). В доме, лишенном стен, экспериментаторы углядели возможность построения «горизонтальных связей», что, несомненно, несло в себе заряд здорового социального сотрудничества и освобождающей

децентрализации. Если у строения нет постоянных стен, значит, они могут быть поставлены где угодно, вобрав в себя разные социальные и гендерные группы, вне зависимости от их богатства и отношения к средствам производства. Таким образом, преодолевалась не только социальная пропасть; под вопрос ставился и принцип «классовой борьбы», который проповедовали туповатые марксисты. В общем, авангардисты единодушно проголосовали за второй вариант и принялись за его реализацию.

Тут же возникли сложности. Построить каркас строения и покрыть его надежной крышей не составляло большого труда, но вот со стенами все оказалось совсем по-иному. «Какими такими стенами? – воскликнет нетерпеливый читатель, – Стен же быть не должно!». Отнюдь. Автор идеи предполагал *одну постоянную стену с наветренной стороны* и временные брезентовые заслоны – со всех остальных. Но такие вещи возможны только в тех местностях, где мы *точно* знаем, откуда *всегда* дует ветер. Наша архитектурная студия располагалась в совсем ином месте – ветер дул, как хотел и откуда хотел, частенько его вообще не было. Где же тогда ставить постоянную стену? В ответ на этот далеко не гипотетический вопрос были высказаны два мнения. Приверженцы первого считали, что надо возводить кирпичную стенку в любом месте, где заблагорассудится. Их аргументы были таковы: мы все равно не угадаем с направлением ветра, дуть может и с юга, и с севера, и с востока, и с запада – не говоря уже о юго-западе и юго-востоке, северо-востоке и северо-западе. С точки зрения теории вероятности, шансов у произвольно поставленной стенки примерно столько же, как у нее же, расположенной на другой стороне. Если наше строение – четырехугольник (а оно именно таково), то примерно 25 процентов всего времени обитатели нашего будущего дома будут ограждены от ветра.

Эту точку зрения тут же обозвали «четвертной» и противопоставили ей другую. Противники «четвертников» высказали крамольную идею: надо сложить из кирпича стенку, но сделать ее мобильной. С их точки зрения, следовало водрузить стенку

на специальную платформу на колесах, которая будет ездить вокруг здания по специальным рельсам, положенным по периметру. «Вместо 25 процентов мы получим все 100!» – восклицали те, кто вошел потом в историю архитектуры под названием «мобиляры», и добавляли: «Зачем нам четверть, нам надо все!». Подобно любому другому революционному движению, раскол произошел между умеренными постепеновцами, готовыми сосредоточиться на достижении частных целей, и истинными радикалами, якобинцами, большевиками. Сначала, как всегда бывает в истории, преуспели первые – но только с тем, чтобы уступить свои позиции вторым; Временное правительство сменилось Совнаркомом.

Итак, «четвертники» поставили стенку с южной стороны строения. Почему именно с южной? Ответить на этот вопрос проще простого – кинули жребий, оказалось, что север, запад и проч. просто проиграли. В сущности, какая разница, не так ли? В общем, новый дом выглядел просто замечательно: прекрасная сверкающая двускатная крыша с водостоками и трубой, из которой вился даже уютненький, какой-то реакционный дымок, и новехонький каркас – балки, опоры, одна стена из красного кирпича. Для чистоты эксперимента в доме поселили нескольких нанятых специально отставных унтер-офицеров; они должны были символизировать «старый мир», который прекрасно поддается переделке в новых революционных условиях. Социальный дизайн сопровождает архитектурный. Однако уже на вторую неделю начались неприятности, собственно, одна неприятность – ветер *никогда* не дул с юга. Он шаршил с севера, завывал с запада, неистовствовал с востока, подленько набрасывался со всех остальных сторон, но никогда – с той стороны, на страже которой стояла стена. Бравые усатые унтера поначалу крепились: прихлебывали чай из чудовищно неудобных модернистских кружек, подаренных архитекторами, нещадно дымили крепчайшими сигаретами, потом перешли на водку и ром, но, в конце концов, сдались и поставили палатку прямо внутри своего строения. На все увещевания «четвертников», что, мол, мы так не договаривались,

экспериментируемые отвечали отборными ругательствами, пока, наконец, не выползли из своего убежища и не поколотили кураторов. После чего отставные военные спокойно свернули палатку, сложили вещи и, подобрав за собой весь мусор, скопившийся за три недели жизни в шедевре авангардизма, бодрым шагом отправились в близлежащий город. Избитые постепеновцы были тут же свергнуты «мобилярами» и отправлены в специально созданную для них «бригаду реализации революционных замыслов». За все это время ветер с юга так и не подул – вопреки наблюдениям местных метеорологов за последние сто лет.

«Мобиляры» бодро взялись за дело. Используя труд «бригады по реализации революционных замыслов», они обнесли прямоугольник дома чуть бóльшим прямоугольником рельсовой дороги. Стена была выкопана (впрочем, не без разрушений) и поставлена на специальную тележку, которая приводилась в движение сложной системой тросов, протянутых от моторчика, установленного в середине дома. Оставшихся в строю «четвертников» (некоторые получили разной тяжести травмы при выполнении вышеперечисленных работ) поселили в строении, а их идейного руководителя (и некогда главу студии) Ван Хойтена посадили командовать пультом управления передвижной стеной. Наконец, после краткой вступительной речи и звучного исполнения гимна «Небесный Авангард», эксперимент начался. Как только Ван Хойтен получил информацию о том, что с юга что-то начало поддувать, были нажаты все необходимые кнопки и приведены в движение нужные рычаги. Тросы заскрипели, тележка словно нехотя двинулась с места, быстрее, быстрее, казалось, еще миг – и обитатели строения окажутся надежно защищены от холода... Увы, достигнув угла, тележка встала. Она оказалась ограничена в своих маневрах – от одного угла прямоугольника до соседнего; чтобы защитить другую сторону, стену нужно было осторожно сгрузить с платформы, затем на руках перенести последнюю на перпендикулярную линию рельсов, затем вернуть на место стену – и так далее. Когда выяснилась ошибка в расчетах, «мо-

бияры» не особенно расстроились: авангард и революция не чураются мускульных усилий, обитателей дома вполне хватит на столь простую – даже своего рода полезную – работу. Однако они ошибались. При выгрузке тяжелая каменная стена несколько раз опрокидывалась, убив двух подающих надежды архитекторов и серьезно поранив еще трех. Переставляемая платформа отравила ноги еще нескольким. Но главная беда была совсем в ином – люди не играли здесь большой роли, ведь в запасе всегда был десяток-другой постепенцев, ждавших своей очереди поучаствовать в великом эксперименте. Нет, весь ужас заключался в том, что *они не успевали*. Пока юные архитекторы, подвывая от бессильной злобы и отвращения, сгружали уже изрядно поврежденную стену, ставили ее на землю, пока они на руках перетаскивали тележку на другие рельсы, проклятый ветер менял направление и все приходилось начинать сначала. Начальствующие «мобиляры» проклинали медлительность «четвертников», обрушивались на них с бранью, оскорблениями, угрозами, получая в ответ то же самое. Каждый день эксперимента заканчивался драками, количество жертв которых сопоставимо с числом пострадавших от стены и тележки. Наконец, все кончилось – силы у постепенцев, терпение у радикалов. Последняя схватка произошла как раз у пульта управления мобильной стеной, который, несмотря на все сложности переходного периода, не покидал Ван Хойтен. Он все так же тихо сидел в своем огромном уютном кресле, в толстенном аранском свитере, пальцы играют кнопками управления, иногда перебегая с них на рычаги, у ног его душат друг друга соратники и бывшие подчиненные, слышны крики, стоны, а он спокоен, как и погода в тот знаменательный день – ни ветерка.

Ван Хойтен был единственным участником эксперимента, которого не арестовала прибывшая через час полиция; остальных увезли в кутузку, где им предъявили множество обвинений: от хулиганства и причинения тяжкого вреда здоровью до покушения на убийство и убийства. Он остался на месте; после того, как сыщики провели все необходимые следствен-

ные мероприятия, а парочка местных крестьян уничтожила следы побоища, Ван Хойтен обернул строение по периметру брезентом, затопил печку и принялся размышлять. Он был не из тех, кого могут остановить досадные случайности, – реализация великого плана стоила временных неудобств. Никто не знает, сколько времени он провел вот так, в кресле, за чашкой чая, за брезентом завывает южный ветер, но в доме достаточно тепло – по крайней мере, тому, кто сидит в шерстяном свитере, укутав ноги тартановым пледом. Известно только, что через месяц он появился около строения с группой цирковых гимнастов и акробатов из странствующего китайского шапито. Они разбили поблизости свой шатер и принялись – следуя указаниям Ван Хойтена – сворачивать брезентовые стены. Вскоре дом архитектурного эксперимента стоял в своем изначальном виде: каркас и на нем крыша. Вид портили только брошенные рельсы, какие-то ямы, выкопанные вокруг умеренными и радикальными авангардистами, окровавленные тряпки и так далее. Но не это занимало Ван Хойтена. На следующее утро он выстроил циркачей в две шеренги и подробно объяснил стоящую перед ними задачу. У каждой шеренги был назначен распорядитель – именно он передавал приказы Ван Хойтена своим подчиненным. Наконец все было готово. Ван Хойтен послунывил большой палец и поднял его вверх. Через мгновение он отдал резкую команду подручным, те, в свою очередь, побежали к подразделениям. В несколько секунд расстояние между опорами той стороны дома, что глядит на север, было заполнено человеческими телами: циркачи составили две пирамиды, одну обычную, другую – острым углом вниз, и, тем самым, сложились во вполне надежную стену. Те из акробатов, кто находился на верхнем контуре, быстро раскинули плотную ткань, ее примяли ногами гимнасты, оказавшиеся у основания живой стены. Ван Хойтен быстро зашел внутрь дома, уселся в кресло, налил себе чашку чая, отхлебнул, поводит плечами, а потом легким движением сбросил с ног плед. Жарко!

Эксперимент продолжался неделю – до полного физического и психического опустошения циркачей. Это был на-

стоящий успех, сенсация – дом с одной только стеной может существовать, в нем можно жить! К строению Ван Хойтена потянулись журналисты, за ними – инвесторы. Измученных гимнастов сменили другие, больше количеством, вокруг удивительного дома вырос целый городок шапито, через пару месяцев к нему прибавились мотели для любопытствующих, приехавших взглянуть своими глазами на такое чудо авангардной архитектурной практики, закусовые, а уже через год рядом выросло большое здание «Института Ван Хойтена» и коттеджный поселок для его сотрудников, начала плести свою сеть городская инфраструктура. Государство не могло оказаться в стороне от столь громкого события; к тому же, национальные интересы не позволяли использовать в стратегически важном деле иностранных наемников. Китайских гимнастов и акробатов сменили местные, но когда оказалось, что число их невелико и профессиональные навыки не на высоте, было принято смелое, пожалуй, даже дерзкое решение. Министерство спорта основало специальное молодежное физкультурное движение, призванное готовить юных граждан к составлению мобильных стен в «доме Ван Хойтена». Делу был придан патриотический оборот: участникам движения предоставлялись льготы при обучении в университете и в получении кредита на первый в своей жизни дом. От желающих не было отбоя, пришлось даже проводить жесточайшую селекцию, как по физическому, так и по идеологическому принципу. Спортивные инструкторы изошрялись в разработке техник построения «живых стен», лучшая из них и была названа «селбианской гармошкой» – в названии великодушное государство отдавало дань далекому мыслителю, который первым предложил строить дома с крышей и всего лишь одной стеной.

**XIX «СОВРЕМЕННЫЙ».** Вот над этим словом придется немало покорпеть. Что такое «современный» в контексте разговора о де Селби? «Современный» нам, читателям его трудов? Но ведь таких читателей уже несколько

поколений, и нет ничего более далекого друг от друга, нежели миллионер баснословного «века джаза», лениво листающий роскошное издание «Сельского альбома» (Guttenberg Press) в гостиной своей виллы под Лос-Анжелесом, и немецкий хипстер нулевых (в ушах айпод со Strokes, тощие ноги обтянуты черными джинсами, серые конверсы рифмуются с серой же майкой, украшенной надписью Lobotomy Instructor), который погружен в изучение растрепанного экземпляра карманного издания (Per Anum Domini) того же «Сельского альбома» в ожидании третьей чашки кофе. Это разные особи, нет – это разные виды! Более того, разве можно сказать, что наш миллионер «современен» даже для своей эпохи – если взять в рассуждение не Северную Америку, а, к примеру, Китай или Советскую Россию? Отнюдь. А хипстер, этот тонконогий стрекулист, населяющий всего лишь несколько городов нашего огромного мира? Разве его признали бы современником жители, скажем, Юба-Сити, штат Калифорния, или Хьюстона, штат Техас? Я уже не говорю об обитателях Абакана или Катманду. Нет, современностью здесь не пахнет; точнее, так: что мы *называем* оной, таковой она и *является*. То есть, и миллионер на вилле, и хипстер в кофейне – современны: себе, друг другу, окружающим; но современны исключительно в нашем сознании. Только вот лично я отказываюсь считать их таковыми, оттого дезавуирую любое рассуждение о «современности». Впрочем, «вечность» – столь же неопределенное понятие. Можем ли мы говорить о «вечном читателе» де Селби? Вряд ли, положи руку на сердце. Прежде всего, как мы знаем, «вечность» оттого и является таковой, что не имеет ни начала, ни конца. Труды де Селби были *когда-то написаны*, соответственно, до своего появления на свет читателя не имели. Можно, конечно, предъявить к этому платоновское возражение, мол, в качестве архетипа, скажем, «Сельский альбом» существовал всегда. И тогда у

него мог быть вечный читатель – **Единое** неоплатоников или их же **Ум**, не говоря о **Душе**. Заманчиво, конечно, представить себе неизреченное, сверхсущее **Единое**, перебирающее в самосозерцающем **Уме** деселбиевские доводы, в то время как **Мировая Душа** терзается от того, сколь несчастен будет автор этой нерожденной еще книги, когда появится на свет. И все-таки оставим в стороне идеалистические концепции вечного чтения трудов нашего философа и обратимся к доводам здравого смысла, того идола, которому неустанно молился де Селби. Здравый смысл говорит, что книги философа стали читать по мере их поступления в магазины и библиотеки и что наверняка придет тот момент, когда о них просто-напросто забудут. Вот этот миг – между тьмой нерожденного и тьмой посмертной – и есть то, что мы называем «современностью»; так, немного велеречиво, но несомненно точно определил бы сложное философское понятие сам де Селби. И был бы прав. Ибо, как говорил Витгенштейн, философ не занимается изобретением новых вещей, его задача – привести старые вещи в самый наилучший порядок. Что мы и пытаемся делать по мере наших слабых сил.

**XX «Гигиена».** Дженни Коннор вспоминает, что мудрое для нее слово «гигиена» («Хозяин гоготал-гоготал, гыгал-гыгал, потом принялся болтать о каких-то там гиенах») де Селби почему-то всегда упоминал в рассуждениях насчет отношений между полами. Если верить служанке, философ нечасто высказывался на такие темы – но уж если принимался говорить об этом, его просто невозможно было остановить. Как известно, при определенных обстоятельствах де Селби был блестящим оратором и превосходным рассказчиком; конечно, прямых свидетельств этому мы не имеем, кроме мемуаров безграмотной Коннор, однако градус ажитации, с кото-

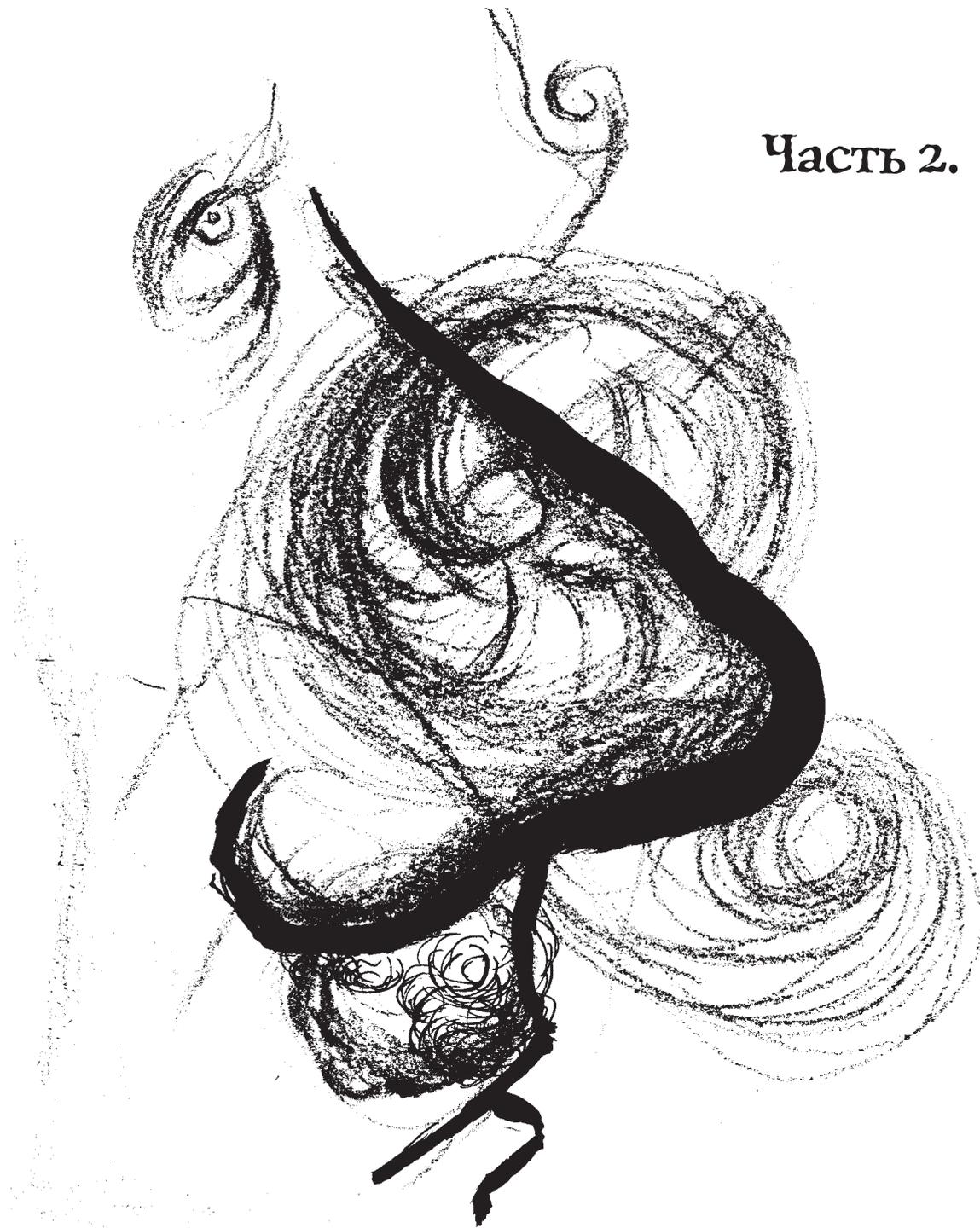
рым она передает любопытнейшие реплики хозяина, да и сам тот факт, что, что де Селби считался своим в самом изысканном и красноречивом обществе завсегдаев «Корабля и Замка», свидетельствует об одном – философ был выдающимся ритором и прекрасным собеседником. Можно также предположить, что взгляды свои на тему отношений полов он высказывал в присутствии не только Дженни, но и абериствитских джентльменов – за пинтой эля, конечно же. Именно такое предположение заставило молодого селбиведа Морта Рейчел-Пейпера (в миру сотрудника AMIS – American Megatrends Incorporation, Seattle) отправиться на поиски тайных эротических сочинений нашего философа. Рейчел-Пейпер предположил, что де Селби, который многое из написанного им сначала опробовал на собеседниках, здесь действовал в том же самом духе. «Если он говорил о сексе со служанкой и собутыльниками, он должен, просто обязан был записывать потом эти свои мысли!» – восклицает темпераментный американец, пыл которого, впрочем, пытается остудить другой селбивед, его оппонент, француз Жюль Реболф. Реболф справедливо замечает, что нам равным счетом ничего не известно о каких-либо высказываниях де Селби на эротические темы, ни о его сексуальной ориентации и сексуальном поведении вообще. «Такое впечатление, что он был совершенно бесполом», – замечает французский исследователь, – «да и о том, были ли другие сочинения де Селби опробованы на окружающих, ничего достоверно не известно. Мы не можем делать далеко идущие выводы на основании отсутствия фактов – материалист де Селби нас за это не похвалил бы». Однако ничто не могло остановить Рейчел-Пейпера. Он уволился из AMIS и провел несколько лет в абериствитских архивах; не найдя там ничего, американец отправился в архивы издательств, публиковавших сочинения нашего философа. Опять пусто. Попутно выяснилось довольно любопытное обстоятельство: в этих самых издательствах, в Guttenberg

Press, в *Per Anum Domini*, в академическом BSHT-Press, наконец, даже в Центре Научной Антиурбанистики при Европейской Комиссии нет ни намека на рукописи, с которых производился набор, скажем, «Сельского альбома». Небольшое расследование, которое устроил Рейчел-Пейпер, явило миру удивительную истину – никто никогда рукописей де Селби не видел. Более того, не видел их и Ле Фурньер, рассуждавший о возможном случайном графическом происхождении знаменитых деселбиевских планов домов без крыш и стен. Это позволило американскому энтузиасту не только опровергнуть устоявшееся мнение (и низвергнуть авторитетную среди специалистов фигуру), но и нанести ответный удар своему французскому оппоненту. «Галльский дух, высокомерный и велеречивый, пытается выказать себя защитником позитивизма и твердых фактов. На деле все это – сплошное надувательство, еще одна попытка дерридизировать почтенную область знания», – восклицает Рейчел-Пейпер в статье «В отсутствие реальности». Поставив под вопрос само существование рукописей де Селби, ловкий американец – от обратного – вернул актуальность вопросу о наличии эротических рукописей философа. «Если мы видим, что бумаг де Селби просто нет, а книги его – есть, значит, вполне возможен такой вариант: эротических рукописей его нет, а сочинения вполне могут быть!» В ответ Жюль Реболф лишь меланхолично заметил, что – если следовать той же логике – человек, не выказывающий ровным счетом никакого ума, может быть гениальным математиком: считать не умеет, но вот трактат об уравнении Клейна-Гордона написать вполне способен.

Так или иначе, Рейчел-Пейпер продолжил поиски. Через два года он предложил читающей публике сенсационный результат: окончательный, великий эротический шедевр де Селби найден! Оказывается, философ опубликовал его анонимно во французском издательстве Zeus-Taranis Press. Первое издание

книги разыскать не удалось, что неудивительно, учитывая полуподпольный характер всего заведения, специализирующегося на печатании самой жесткой и грубой порнографии. Все, что мы знаем, – пересказ одного эпизода из этого анонимного сочинения в другой эротической книге, вышедшей десятилетия спустя в том же самом издательстве. На странице 126 романа Якуба Радостны “Genial Genitals” (пер. с чешского на английский Сирила Снейка) читаем: «Он набросился на нее со всей лихорадкой добропорядочного бюргера, которого заставили прожить целую неделю в доме без стен и крыши. Проникнув в податливое, теплое, трепещущее внутрь, он с некоторым даже успокоением принялся за привычную механическую деятельность, однако мысли его витали далеко. “Где, черт возьми, я читал про дома без крыши и стен? Какого Зевса я вообще об этом вспомнил?” Мысль свою он не закончил: отчаянные вздохи партнерши переместили его сознание из сферы книгочтения и книгопечатания к более насущным сейчас вопросам совокупления, кое он довел до конца с присущим ему блеском. Финал был исполнен в самых пасторальных, элегических тонах, что заставило его вспомнить сентиментальных пастушек XVIII-го века и сельских помещиц века XIX-го с их вечными альбомами. “Беее”, – проблеял он и вцепился в золотое руно дамы». Рейчел-Пейпер торжествовал: «Если вас не убедят эти дома без крыш и стен, этот издательский Зевс, наконец, эти сельские альбомы, то мне остается сказать лишь одно: вон из науки! Вон из Селбиведения!»

Что же до Жюля Реболфа, то он благоразумно молчит и пока не отвечает на страстный выпад оппонента. Поиски утерянных рукописей и тайных сочинений де Селби продолжают.



Часть 2.

Способ  
текстообработки —

перепиcывание

ФЛЭНН О'БРАЙЕН

ТРЕТИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ\*  
Глава 2 (остальная часть)

**НА** ВОСПОМИНАНИЯ о де Селби меня навело посещение дома старого мистера Мэтерса. Когда я, шагая по дороге, приблизился к нему, дом оказался добротным просторным зданием неопределенного возраста, двухэтажным, с простым крыльцом и восемью или девятью окнами по фасаду каждого этажа.

Я открыл железную калитку и как можно тише пошел по гравийной, в пучках травы, дорожке. Голова моя была до странности пуста. У меня не было ощущения, что я вот-вот успешно завершу план, над которым денно и нощно трудился уже три года, не покладая рук. Я не сиял довольством и не радовался перспективе разбогатеть. Занимала меня лишь одна механическая задача: отыскать черный ящичек.

Дверь в прихожую была закрыта. Хотя располагалась она в самой глубине сильно вдающегося внутрь крыльца, хлеставшие ее ветер и дождь покрыли филенки слоем смешанной с песком пыли, глубоко въевшейся и в щель там, где дверь открывалась, так что видно было, что она стоит закрытой уже не первый год. Вставши на заброшенную цветочную клумбу, я принялся толкать кверху раму первого слева окна. Упрямо и со скрипом она поддавалась моим усилиям. Я пролез в образовавшийся проем и не сразу очутился в комнате, но обнаружил, что ползу вдоль подоконника, подобного которому по ширине никогда не видел. Когда я добрался до пола и с шумом на него соскочил, мне показалось, что открытое окно находится очень далеко и слишком мало для меня.

# \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^ & ~ № # \* \$ % ^

\*

Flann O'Brien, *The Third Policeman*, Flamingo 1993.

Комната, где я очутился, была донельзя пыльной, затхло́й, мебель в ней полностью отсутствовала. Вокруг камина, сооруженные пауками, растянулись огромные полотнища паутины. Я быстро направился к прихожей, распахнул дверь комнаты, где находился ящичек, и остановился на пороге. Утро стояло темное, ненастная погода затянула окна мутными серыми разводами, не пропускавшими внутрь и самых ярких лучей слабого света. Дальний угол комнаты полускрывала тень. У меня внезапно появилось страстное желание покончить со своей задачей и навсегда покинуть этот дом. Я прошел по голым половицам, опустился на колени в углу и провел руками по полу в поисках незакрепленной доски. К своему удивлению, я нашел ее без труда. Она имела фута два в длину и пустотело покачивалась у меня под рукой. Я поднял ее, отложил в сторонку и чиркнул спичкой. Стали видны неясные очертания угнездившегося в дыре черного металлического ящичка для денег. Я опустил туда ладонь и подцепил свободно лежащую ручку согнутым пальцем, но пламя спички, внезапно дрогнув, погасло, и ручка ящичка, приподнятая мною на дюйм или около того, грузно соскользнула у меня с пальца. Не отвлекаясь на то, чтобы зажечь новую спичку, я засунул в отверстие всю руку целиком, и тут, в тот самый момент, когда пальцы ее должны были сомкнуться вокруг ящичка, что-то произошло.

Что это было, мне ничем не описать, однако испугало оно меня до крайности – задолго до того, как мне удалось хоть что-то понять. Это была некая перемена, постигшая то ли меня, то ли комнату, почти неуловимая, но при этом невыразимо важная. Словно свет дня изменился с невиданной в природе внезапностью, словно вечерняя температура за миг претерпела сильный скачок, словно воздух в одно мгновение ока сделался вдвое более разреженным или вдвое более плотным, чем прежде, – возможно, все это, и не только, действительно произошло в один и тот же момент, ибо все мои чувства одновременно охватило смятение, и никакого объяснения от них было не дожидаться. Пальцы моей правой руки, просунутые в отверстие в полу, машинально сомкнулись и, не найдя абсолютно ничего, снова появились на свет. Рука была пуста. Ящик исчез!

Позади меня раздался кашель – негромкий, обычный, однако же более пугающего звука человеческому уху встречать никогда не доводилось. Полагаю, я не умер от страха по двум причинам: во-первых, мои органы чувств, и без того охваченные хаосом, позволяли мне воспринимать окружающее лишь постепенно; во-вторых, изданный кашель, казалось, вызвал дополнительную, еще более ужасную перемену во всем – он будто на миг задержал вселенную в неподвижном состоянии, приостановивши ход планет, вызвавши остановку Солнца и подвесивши в воздухе все падающие предметы, которые притягивала к себе Земля. Я без сил повалился с колен назад и, обмякнув, принял сидячее положение на полу. На лбу у меня выступил пот, глаза, остановившиеся и почти невидящие, надолго застыли, не мигая.

В самом темном углу комнаты, у окна в кресле сидел человек, разглядывая меня с легким, но неотступным интересом. Его рука проползла по столику сбоку от него и медленно-медленно зажгла стоящую там керосиновую лампу. За стеклом керосиновой лампы смутно виднелся фитиль, скрученный, в извилинах, словно кишечник. На столике стояла чайная посуда. Человек этот был старик Мэтерс. Он молча наблюдал за мной. Старик не двигался, не говорил и вполне мог бы сойти, как и прежде, за мертвеца, если бы не легкое движение его руки у лампы – он тихонько покручивал большим и указательным пальцами колесико фитиля. Рука была желтая, кости неплотными складками покрывала морщинистая кожа. На костяшке указательного пальца ясно видна была петля усохшей вены.

Подобную сцену трудно описать, как трудно найти слова, чтобы передать чувства, посетившие мое онемевшее сознание. Так, например, мне неизвестно, долго ли мы сидели, глядя друг на друга. Этот не поддающийся описанию, необъяснимый промежуток с одинаковой легкостью мог поглотить и несколько минут, и годы. Утренний свет, доступный моему взору, исчез, пыльный пол подо мною превратился в пустоту, и все мое тело растворилось, ушло прочь, сведя мое существование к одному лишь оцепеневшему, зачарованному взгляду, прицельно направленному оттуда, где находился я, в противоположный угол.

Помню, я заметил несколько мелочей – бесстрашно, машинально, словно мое там сидение имело целью лишь одно: подмечать все увиденное. Хотя лицо старика было страшно, глаза на нем источали такой холод и ужас, что остальные черты его казались мне едва ли не дружелюбными. Кожа походила на вылинявший пергамент; совокупность складок и морщин придавала лицу непроницаемое выражение, не поддающееся разгадке. Глаза же были ужасны. Глядя на них, я подумал, что это вовсе не настоящие глаза, а механическая модель, работающая на электричестве, с крохотным булавочным отверстием в середине «зрачка», через которое на тебя тайно, с ледяным спокойствием взирает настоящий глаз. Подобные размышления, на деле, возможно, не имевшие под собой совершенно никаких оснований, привели меня в страшное смятение, вызвав в мыслях нескончаемые рассуждения о цвете и признаках этого настоящего глаза, а также о том, является ли он в действительности настоящим по сути, или же он – всего лишь другая модель, булавочное отверстие которой расположено на одной плоскости с первым, а настоящий глаз, спрятанный, возможно, за тысячами этих абсурдных покровов, смотрит через дуло сомкнувших ряды прорезей. Тяжелые, напоминающие сыр веки иногда опускались – медленно, до крайности устало, – а затем поднимались снова. Тело неплотно окутывал старый, винного цвета халат.

Охваченный беспокойством, я решил было, что это, возможно, его брат-близнец, но тут же услышал, как кто-то сказал:

Маловероятно. Если внимательно посмотреть на левую половину его шеи, можно заметить, что там – липкий пластырь или повязка. Горло и подбородок у него тоже перевязаны.

Отчаявшись, я взглянул и увидел, что это правда. Это вне всякого сомнения был тот самый человек, которого я убил. Он сидел в кресле и наблюдал за мной с расстояния четырех ярдов. Сидел он в одеревеневшей позе, не двигаясь, словно боясь потревожить зияющие раны, покрывавшие его тело. Мои же собственные плечи одеревенели от трудов с лопатой.

Но кто произнес эти слова? Они меня не напугали. Слышал я их ясно, но при этом понимал, что они не разносятся в воздухе,

подобно ледящему кашлю старика в кресле. Они появились из самого моего нутра, из моей души. Прежде я никогда не думал и не подозревал, что у меня есть душа, но тут понял, что есть. Еще я понял, что моя душа расположена ко мне дружески, старше меня годами и озабочена единственно моим персональным благополучием. Для удобства я придумал душе имя – Джо. Я немного приободрился, узнав, что не совсем одинок. Джо был на моей стороне.

Рассказать о последовавшем промежутке времени не стану и пытаться. В жуткой ситуации, в которой я оказался, ждать помощи от логики не приходилось. Я понимал, что старый Мэтерс был свален с ног ударом железного велосипедного насоса, насмерть зарублен тяжелой лопатой, а затем надежно зарыт в поле. Понимал я и то, что теперь этот же человек сидит со мной в одной комнате, молча за мной наблюдая. Тело его было перевязано, но глаза были живы, как и правая рука, как и он весь. Может быть, убийство на обочине оказалось дурным сном?

У тебя одеревенели плечи – какой же это сон? Верно, ответил я, но ночные кошмары бывают физически столь же тяжелыми, что и реальность.

По каким-то неясным соображениям я решил, что лучше всего поверить в то, что у меня перед глазами, а не полагаться на память. Я решил проявить спокойствие, поговорить со стариком и проверить, настоящий ли он, спросив о черном ящичке, повинном – если такое вообще было возможно – в том состоянии, в котором мы оба пребывали. Понимая, что положение мое весьма опасно, я твердо намеревался действовать решительно. Я понимал, что сойду с ума, если не встану с полу, не начну двигаться, говорить и вести себя как можно более естественным образом. Отвернувшись от старика Мэтерса, я осторожно поднялся на ноги и сел на стоявший поблизости от него стул. Затем я опять взглянул на него; сердце мое остановилось было, потом заработало снова – медленные, тяжелые удары молота, сотрясавшие, казалось, все мое тело. Он оставался совершенно неподвижен, но живая правая рука обхватила чайник, подняла его, двигаясь весьма неловко, и плеснула жидкости в пустую чашку. Глаза его проследовали за

мной к моему новому месту и теперь опять рассматривали меня с тем же неуклонным, усталым интересом.

Внезапно я заговорил. Слова лились из меня, будто производимые механическим устройством. Мой голос, сперва дрожащий, окреп, сделался громче, заполнил всю комнату. Не помню, что я говорил в начале – наверняка что-то по большей части бессмысленное, – однако я был слишком доволен и ободрен естественными, полнокровными звуками своей речи, чтобы заботиться о словах.

Старик Мэтерс поначалу не двигался и ничего не говорил, но я был уверен, что он меня слушает. Через некоторое время он принялся качать головой, а потом я услышал – сомнений тут быть не могло, – как он сказал «нет». Его реакция возбудила меня, и я стал говорить с осторожностью. Он отрицательно ответил на мой вопрос о его здоровье, отказался говорить, куда делся черный ящик, и не согласился даже с тем, что утро стоит хмурое. В голосе старика была странная, режущая слух тяжесть, отчего он напоминал хриплый звон древнего ржавого колокола на башне, скованной плетом. Помимо одного-единственного слова – «нет» – он не произносил ничего. Губы его почти не шевелились; я был уверен, что под ними у него нет зубов.

– Вы мертвы в настоящий момент? – спросил я.

– Нет.

– Известно ли Вам, где ящик?

– Нет.

Он вновь сделал резкое движение правой рукой, плеснув в чайник горячей воды и подлив еще немного этого незабористого напитка себе в чашку. Затем он снова принял это свое положение неподвижного созерцания. Я немного помедлил.

– Вам нравится слабый чай? – спросил я.

– Нет, – сказал он.

– А вообще чай Вам нравится? – спросил я – Крепкий чай, слабый, средний?

– Нет, – сказал он.

– Зачем же Вы его пьете?

Он грустно покачал своим желтым лицом из стороны в сторону и ничего не сказал. Перестав покачиваться, он раскрыл рот и влил туда чашку чая, как вливают ведро молока в маслобойку, когда приходит время сбивать масло.

Ты ничего не заметил?

Нет, ответил я, ничего – кроме того, что дом выглядит жутковато, как и его хозяин. Его никак не назовешь лучшим из собеседников, какие мне встречались.

Я обнаружил, что говорю достаточно непринужденно. Ведя разговор, внутренний ли, внешний, размышляя ли о том, что сказать, я чувствовал себя храбрым и не испытывал ничего из ряда вон выходящего. Но всякий раз, когда наступало молчание, ужас моего положения опускался на меня, подобно накинутому на голову тяжелому покрывалу, окутывая, душа, нагоняя страх смерти.

Но разве ты не заметил ничего в его манере отвечать на твои вопросы?

Нет.

Разве ты не видишь, что каждый ответ – отрицательный? Что ты его ни спросишь, он всегда говорит «нет».

Да, пожалуй, сказала я, но я не понимаю, какие из этого можно сделать выводы.

Примени воображение.

Снова сосредоточивши внимание на старике Мэтерсе, я подумал было, что он спит. Он сидел за своей чашкой чаю в положении более согбенном, будто ставши скалой или же частью деревянного стула, на котором сидел, – совершенно мертвый, обратившийся в камень человек. Его вялые веки опустились на глаза, почти закрывши их. Правая рука его, покоящаяся на столе, лежала безжизненная, покинутая. Я собрался с мыслями и обратился к нему резко и громко, намереваясь узнать правду.

– Ответите ли Вы на прямой вопрос? – спросил я.

Он слегка пошевелился, веки его немного приоткрылись.

– Нет, – отвечал он.

Я заметил, что этот ответ согласовывается с метким предположением Джо. С минуту я сидел, размышляя над одной и той же мыслью, пока не обмыслил ее вдоль и поперек.

– Откажетесь ли Вы ответить на прямой вопрос? – спросил я.

– Нет, – отвечал он.

Этот ответ меня порадовал. Отсюда следовало, что мое сознание нашло тропинку к его сознанию, что я уже едва ли не спорю с ним и что мы ведем себя как два обыкновенных человека. Я не понимал всех ужасов, постигших меня, но теперь мне начинало казаться, что я, очевидно, заблуждался на этот счет.

– Прекрасно, – спокойно сказал я. – Почему Вы всегда отвечаете «нет»?

Он заметно пошевелился в кресле и снова наполнил чашку, прежде чем заговорить. Казалось, он с трудом подбирает слова.

– «Нет» – ответ, вообще говоря, более правильный, чем «да».

Казалось, его обуяло желание говорить – слова выходили изо рта так, будто провели там взаперти тысячу лет. Он явно почувствовал облегчение оттого, что я нашел способ его разговаривать. Мне показалось, что он даже слегка улыбнулся мне, но это, несомненно, были хитрости неважного утреннего света, а может, шутки, подстроенные тенями от лампы. Сделав большой глоток чаю, он сидел и ждал, глядя на меня своими непонятными глазами. Теперь они были ясными и живыми и беспокойно двигались туда-сюда в своих желтых морщинистых глазницах.

– Вы отказываетесь объяснить мне, почему Вы так сказали? – спросил я.

– Нет, – сказал он. – В молодости я вел неправильную жизнь и большую часть времени посвящал того или иного рода излишествам, Номером Первым в ряду которых была моя основная слабость. Вдобавок я приложил руку к созданию комиссии по неорганическим удобрениям.

Мысли мои тут же вернулись к Джону Дивни, к ферме и пабу, а оттуда – к тому страшному дню, который мы провели на сырой пустынной дороге. Словно вознамерившись прервать мои безрадостные размышления, в ушах у меня опять раздался голос Джо, на сей раз суровый:

Спрашивать его о том, что такое Номер Первый, не надо – нам ни к чему пыльные описания порока и вообще чего

бы то ни было в этом духе. примени воображение. Спроси его, какое отношение все это имеет к «да» и «нет».

– Какое это имеет отношение к «да» и «нет»?

– Прошло время, – продолжал, не обращая на меня внимания, Мэтерс, – и я, благодарение судьбе, осознал, как ошибочно мое поведение и какой несчастливый конец меня ждет, если я его не исправлю. Я удалился от мира, чтобы попытаться понять его и выяснить, отчего он становится более неприятным по мере того, как тело человека обрастает годами. И что, по-Вашему, я обнаружил под конец своих медитаций?

Я снова обрадовался. Теперь он задает мне вопросы!

– Что же?

– Что «нет» – ответ более правильный, чем «да», – отвечал он.

Похоже, мы не сдвинулись с места, подумал я.

Напротив – отнюдь нет. Я уже готов с ним согласиться. «Нет» как Основной принцип – в этом определенно что-то есть. Спроси его, что он имеет в виду.

– Что Вы имеете в виду? – осведомился я.

– По ходу этих медитаций, – сказал старик Мэтерс, – я, так сказать, вынул все свои грехи и разложил их на столе. Стоит ли говорить, что стол был большой.

Он, как мне показалось, довольно сухо улыбнулся собственной шутке. Я усмехнулся, чтобы его поддержать.

– Все их досконально изучил, взвесил и рассмотрел со всех сторон света. И спросил себя, как же так произошло, что я их совершил, где я был и с кем я был, когда это произошло.

Очень здраво рассуждает; каждое слово – само по себе проповедь. Слушай как можно внимательнее. Попроси его продолжать.

– Продолжайте, – сказал я.

Признаться, я почувствовал, как внутри у меня, рядом с самым желудком, что-то щелкнуло, словно Джо приложил палец к губам и навострил пару ушей, мягких, будто у спаниеля, дабы ни за что не пропустить ни единого слога из мудрых речей. Старик Мэтерс спокойно продолжал.

– Обнаружил я следующее: каждое твоё действие – ответ на просьбу или предложение, которое поступает от кого-то другого, либо изнутри, либо извне. Среди этих предложений попадаются хорошие и достойные одобрения, попадают и воистину прекрасные. Но большинство из них определённно дурны и являются собой грехи довольно существенные в общем ряду грехов. Вы меня понимаете?

– Превосходно.

– Я бы сказал, что дурных в три раза больше, чем хороших.

Спросить меня, так в шесть.

– Поэтому я решил впредь отвечать «нет» на любое предложение, просьбу или запрос, будь то изнутри или извне. Это оказалось единственной простой формулой, надёжной и не вызывающей сомнений. Поначалу придерживаться её было трудно, часто требовались героические усилия, но я не сдавался и почти никогда не знал поражений. Уже много лет я не произносил слова «да». Я отказал в большем количестве просьб и отклонил большее количество утверждений, чем кто-либо когда-либо. Я отказывал, отрекался, не соглашался, отклонял и отрицал в невероятной степени.

Превосходный и оригинальный образ действия. Все это чрезвычайно интересно и благотворно, каждый слог – сам по себе проповедь. Очень и очень здорово.

– Чрезвычайно интересно, – сказал я старику Мэтерсу.

– Эта система приносит покой и умиротворение, – продолжал он. – Людям незачем трудиться задавать тебе вопросы, когда известно, что ответ – вывод предфрешенный. Мыслям, у которых нет шанса на успех, вообще незачем трудиться приходить тебе в голову.

– Вероятно, это причиняет Вам определённые неудобства, – высказал догадку я. – Скажем, предложи я Вам стаканчик виски...

– Друзья – те немногие, что у меня есть, – отвечал он, – обычно достаточно добры ко мне и вносят подобные предложения таким образом, чтобы дать мне возможность не отклоняться от моей системы и в то же время не отказываться от виски. Меня

неоднократно спрашивали, не откажусь ли я от чего-нибудь подобного.

– И Вы все так же отвечали «НЕТ»?

– Разумеется.

В этот момент Джо ничего не сказал, но у меня было ощущение, что данное признание ему не по вкусу – казалось, он тревожится у меня внутри. Старик тоже слегка забеспокоился. Он склонился над своей чашкой с отсутствующим видом, словно был занят совершением некоего таинства. Затем он принялся пить своим пустотелым горлом, издавая бессодержательные звуки.

Святой человек.

Я снова обернулся к нему, опасаясь, как бы у него не прошёл приступ разговорчивости.

– Где тот чёрный ящичек, который только что был под полом? – спросил я и указал на отверстие в углу.

Он покачал головой и ничего не ответил.

– Вы отказываетесь мне объяснить?

– Нет.

– Вы возражаете против того, чтобы я его взял?

– Нет.

– Так где же он?

– Как Ваше имя? – резко спросил старик.

Этот вопрос меня удивил. К моему собственному разговору он отношения не имел, но я не заметил данной неуместности, поскольку с ужасом осознал, что, каким бы простым этот вопрос ни был, ответить на него я не в состоянии. Я не знал, как мое имя, не помнил, кто я. Я толком не понимал, откуда я и что делаю в этой комнате. Я обнаружил, что не уверен ни в чем, кроме того, что разыскиваю чёрный ящичек. Однако я знал, что этого человека зовут Мэтерс и что он был убит с помощью насоса и лопаты. Знал я и то, что у меня нет имени.

– У меня нет имени, – ответил я.

– Так как же я могу Вам сказать, где ящик, если Вы не можете расписаться в квитанции? Так дела не делаются. С тем же успехом я мог бы отдать его западному ветру или дыму из трубки. Разве Вы можете заполнить важный банковский документ?

– *Имя всегда можно раздобыть*, – отвечал я. – *Доил или Сполдэн – хорошие имена, да и О'Суини, Хардимэн и О'Хара ничем не хуже. Я могу выбирать. В отличие от большинства людей, я не привязан к одному слову пожизненно.*

– *Доил мне не особенно нравится*, – рассеянно заметил он.

Бари – вот как тебя зовут. Синьор Бари, выдающийся тенор. Когда великий артист появился на балконе св. Петра, Рим, на великой площади собралась толпа в пятьсот тысяч человек.

*К счастью, в обычном смысле слова этих замечаний слышно не было. Старик Мэтерс пристально разглядывал меня.*

– *Каков Ваш цвет?* – спросил он.

– *Мой цвет?*

– *Должны же Вы знать свой цвет.*

– *Люди нередко отмечают, что у меня красное лицо.*

– *Я вовсе не это имею в виду.*

Слушай как можно внимательнее – это наверняка будет чрезвычайно интересно. И весьма поучительно.

*Я понял, что задавать вопросы старику Мэтерсу следует давать с осторожностью.*

– *Вы отказываетесь разъяснить свой вопрос о цветах?*

– *Нет*, – на этом он плеснул себе в чашку еще чаю.

– *Вам, несомненно, известно, что у ветров есть цвета*, – начал он.

*Мне показалось, что он более спокойно устроился в кресле и принялся менять выражение лица, пока оно не приняло отчасти благосклонный вид.*

– *Я никогда этого не замечал.*

– *Записи об этом веровании можно найти в литературе всех древних народов\**. Существует четыре ветра и восемь подветров,

\* Слыхал ли об этом де Селби, точно неизвестно, однако (Гарсиа, с. 12) он высказывает предположение о том, что ночь, отнюдь не являясь результатом общепринятой теории движения планет, есть следствие накопления “черного воздуха”, продукта некоей вулканической деятельности, каковую он в подробностях не рассматривает. См. также “Сельский альбом”, с. 79 и 945. Интересны комментарии Ле Фурньера

*у каждого – свой собственный цвет. Ветер с востока темно-багряный, с юга – изысканно посверкивает серебром; северный ветер – сурового черного цвета, а западный – янтарного. В старину люди обладали умением эти цвета различать и целые дни способны были тихонько просиживать на холмике, наблюдая за красотой ветров, за их падением и взлетом, и меняющимися оттенками, за очарованием, присущим ветрам-соседям, когда они переплетаются, словно ленты на свадьбе. Заниматься этим было приятнее, чем сидеть, вперившись в газету. Подветра обладали цветами неопишумой тонкости: красновато-желтый, стоящий где-то посередине между серебряным и багряным, серовато-зеленый, одинаково родственный и черному, и коричневому. Что может быть совершеннее сельского пейзажа под легкими прикосновениями прохладного дождя, красноватого от юго-западного бриза!*

– *А Вы различаете эти цвета?* – спросил я.

– *Нет.*

– *Вы спросили меня, каков мой цвет. Откуда у людей берутся цвета?*

– *Цвет человека*, – отвечал он медленно, – *есть цвет ветра, преобладающего при его рождении.*

– *Каков Ваш собственный цвет?*

– *Светло-желтый.*

– *Какой же смысл в том, чтобы знать свой цвет или вообще обладать цветом?*

– *Прежде всего, по нему можно предсказать длину своей жизни. Желтый означает жизнь длинную, и чем светлее, тем лучше.*

Очень поучительно, каждое слово – само по себе проповедь. Попроси его пояснить.

– *Будьте любезны пояснить.*

*Ответ его был содержателен по части сведений.*

(в “Homme ou Dieu”). “On ne saura jamais jusqu'à quel point de Selby fut cause de la Grande Guerre, mais, sans aucun doute, ses théories excentriques – spécialement celle que nuit n'est pas un phénomène de nature, mais dans l'atmosphère un état malsain amené par un industrialisme cupide et sans pitié – auraient l'effet de produire un trouble profond dans les masses”.

– Тут все дело в изготовлении одежды.

– Одежек?

– Да. При моем рождении присутствовал некий полицейский, обладавший талантом наблюдения за ветрами. Талант этот в наши дни становится весьма редким. Как только я родился, он вышел на улицу и установил цвет ветра, дувшего наискось по холму. При себе у него был потайной сундучок, полный неких материалов и пузырьков; также имелись у него портновские инструменты. Он провел на улице что-то около десяти минут. А когда вернулся, в руке у него была одежда, и он велел моей матери надеть ее на меня.

– Где же он раздобыл эту одежду? – спросил я удивленно.

– Сам ее изготовил по секрету на заднем дворе – вполне вероятно, что в коровнике. Она была такая тоненькая, легкая, что тончайший муслин, сплетенный пауком, – совсем не разглядеть, если поднять в воздух, но, когда свет падал под определенным углом, порой удавалось случайно заметить ее краешек. То было чистейшее, совершеннейшее воплощение кожного покрова светло-желтого цвета. Этот желтый и был цвет ветра моего рождения.

– Ах вот оно что, – сказал я.

Чрезвычайно изящное понятие.

– Каждый раз, когда наступал день моего рождения, – продолжал старик Мэтерс, – мне дарили новую одежду, точь-в-точь такую же, только надевалась она не вместо прежней, а поверх нее. Чтобы Вы могли оценить чрезвычайную деликатность и тонкость материала, я Вам скажу, что даже когда на мне, пятилетнем, этих одежек было целых пять, все равно казалось, будто я стою нагишом. Нагота это, однако, была особого, желтоватого свойства. Разумеется, носить другое платье поверх этих одежек не возбранялось. Я обычно носил пальто. Но каждый год мне доставалась новая одежда.

– Откуда Вы их получали? – спросил я.

– Из полиции. Их приносили прямо ко мне домой, пока я не подрос и не стал сам ходить за ними в казармы.

– Как же все это позволяет предсказать жизненный срок?

– Я Вам объясню. Каков бы твой цвет ни был, твоя одежда при рождении дает о нем непогрешимое представление. С каждым

годом, с каждой одежкой цвет становится все темнее и заметнее. Что до меня самого, то яркий, полнокровный желтый оттенок я приобрел к пятнадцати годам, хотя при рождении он был до того светлым, что его было не различить. Теперь, когда мне под семьдесят, цвет мой светло-коричневый. По мере появления одежек на протяжении грядущих лет он будет темнеть, сделается темно-коричневым, затем превратится в тусклое красное дерево, а после неизбежно перейдет в ту разновидность темно-темно-коричневого, что принято отождествлять с портером.

– А потом?

– Одним словом, цвет постепенно темнеет, одежда за одежкой, год за годом, пока не сделается на вид черным. В конце концов наступит день, когда при добавлении следующей одежды достигнута будет настоящая, полная чернота. В этот день я умру.

Сказанное удивило нас обоих. Мы с Джо молча поразмыслили над этими словами; он, как мне подумалось, силится привести только что услышанное в соответствие с определенными принципами, которых придерживался в отношении морали и религии.

– Это означает, – сказал я наконец, – что, если получить определенное количество этих одежек и надеть их на себя все сразу, считая каждую за год жизни, то можно установить год своей смерти?

– Теоретически говоря, да, – отвечал старик, – но тут имеются две трудности. Прежде всего, полиция отказывается выдавать тебе все одежки сразу на том основании, что всеобщее установление дней смерти противоречит общественным интересам. Речь идет о нарушении спокойствия и тому подобных вещах. Во-вторых, имеется трудность с растягиванием.

– С растягиванием?

– Да. Поскольку ту крохотную одежду, что была в пору при рождении, человеку придется носить и взрослому, ясно, что одежда растягивается, пока не станет раз, может быть, в сто больше, чем была поначалу. Само собой, это повлияет на цвет, сделав его во много крат бледнее, чем раньше. То же и все прочие одежки вплоть до зрелого возраста: они пропорциональным образом рас-

тянутся, соответственно убавивши в цвете – в целом, возможно, раз в двадцать.

Интересно, можно ли отсюда заключить, что данное приращение одежек потеряет прозрачность с наступлением половой зрелости?

*Я напомнил ему, что есть ведь еще и пальто.*

– Таким образом, – обратился я к старику Мэтерсу, – я делаю вывод, что, когда Вы говорите, будто способны предсказать длину жизни, так сказать, по цвету рубашки, то имеете в виду следующее: Вы можете приблизительно определить, долгая ли Вас ожидает жизнь или короткая. Верно?

– Да, – ответил он. – Но если применить умственные способности, то можно дать очень точное предсказание. Само собой, одни цвета лучше, другие хуже. Некоторые – скажем, багряный или бордовый – очень нехороши и всегда являются признаком ранней кончины. Розовый же, напротив, цвет превосходный, да и в определенных оттенках зеленого и синего что-то есть. Однако преобладание подобных цветов при рождении обычно означает, что ветер принесет с собой непогоду – возможно, гром и молнию; к тому же, могут возникнуть трудности, связанные с тем, например, как заставить женщину поторапливаться. Ведь как Вам известно, почти все хорошее в жизни сопряжено с определенными неудобствами.

В целом прямо-таки замечательно.

– Кто эти полицейские? – спросил я.

– Во-первых, сержант Плак и еще один человек по имени Мак-крускин, и есть еще третий по имени Фокс – он пропал двадцать пять лет тому назад, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Первые двое – в казармах и, насколько мне известно, находятся там уже не одну сотню лет. Должно быть, они – носители какого-нибудь очень редкого цвета, такого, что обыкновенным глазом ни за что не различить. Белого ветра, насколько я знаю, не существует. Все они обладают талантом различать ветра.

Когда я услышал про этих полицейских, в голову мне пришла блестящая мысль. Раз они так много знают, им будет вовсе не сложно сообщить мне, где найти черный ящичек. Мне начинало

казаться, что я ничем не успокоюсь, пока снова не заполучу этот ящичек. Я взглянул на старика Мэтерса. Он опять погрузился в прежнее свое пассивное состояние. Свет в его глазах померк, покоящаяся на столе правая рука приняла совершенно мертвый вид.

– Далеко ли казарма? – громко спросил я.

– Нет.

Я решил отправиться туда без промедления, но тут заметил поразительную вещь. Свет лампы, поначалу лишь одиноко горевшей в углу, где сидел старик, теперь сделался сильным, желтым и залил всю комнату. Утренний свет за окном едва ли не полностью померк. Я глянул в окно и вздрогнул. При входе в комнату я заметил, что окно выходит на восток и что с той стороны, поджигая лучами тяжелые облака, встает солнце. Теперь оно, в последних слабых отблесках красного, садилось, причем ровно на том же месте. Оно немного поднялось, остановилось, а затем двинулось обратно. Наступила ночь. Полицейские, верно, спят. Ничего не скажешь, в странную я попал компанию. Отправляюсь в казарму первым делом поутру, решил я. Затем я снова обернулся к старику Мэтерсу.

– Вы не будете возражать, – сказал я ему, – если я поднимусь наверх и займу на ночь одну из Ваших постелей? Домой идти слишком поздно, да и в любом случае на дворе, по-моему, собирается дождь.

– Нет, – ответил он.

Он остался сидеть, сгорбившись над своим чайным прибором, а я пошел наверх. Жаль, что его убили, подумалось мне, – я успел его полюбить. Я чувствовал облегчение: дело упростилось, и ящичек наверняка скоро будет у меня. Но спрашивать полицейских о нем в открытую я поначалу не стану. Я буду действовать хитростью. Утром я пойду в казарму и заявлю о пропаже своих американских золотых часов. Возможно, именно эта ложь и стала причиной тех несчастий, что приключились со мною впоследствии. Никаких американских золотых часов у меня не было.

КИРИЛЛ КОБРИН

## НЕТ

**П**ОСЛЕ того, как меня убили, я был помещен жить сюда. Место вполне нормальное – не сильно отличающееся от того, где я обитал раньше. Не исключено даже, что именно здесь я и жил, но теперь уже не вспомнить. Мне было сказано, что вот здесь ты и останешься. Или «Вы останетесь»? Не помню. Ни того, кто это говорил, ни как ко мне обращались. Впрочем, обращались со мной вполне неплохо, могли бы и хуже. Гораздо хуже, если вспомнить, что со мной сделали там, до этого. С другой стороны, совершенно невозможно сказать, что же со мной сотворили там; все это могло привидеться в здешней моей дремоте: удар тяжелым цилиндром, повергнувший меня наземь, мое горло, зарубленное лезвием лопаты. Кажется, раны мои при мне, но они не болят, да и есть ли они? я не разматываю тряпок на шее. Что же до огромной шишки на голове, то не заработал ли я ее уже здесь? Или до того? Кто знает, не родился ли я уже с ней?

В общем, я сижу здесь не знаю сколько времени, пью чай и думаю. Все не так уж плохо и сложилось, если рассуждать начистоту. Кем я был до того? И слов-то не найти. Мерзким старикашкой, скрягой, заедавшим жизнь окружающих? Быть может. Но, согласитесь, в этом есть какое-то противоречие: не мог же я быть старикашкой всегда. Наверное, я был и ребенком, и юношей, и даже взрослым мужчиной в расцвете сил. Так-то оно так, но я этого не помню. Совсем не помню. Родители? Друзья? Любимая? Дети? Враги? Сколько ни перетряхиваю содержание попорченной своей головы, ничего не помню. На каждый вопрос всегда один и тот же ответ – нет. Не помню. Не знаю. Не было. Чтобы

удержать в старой башке хотя бы это, я придумал историю. История проста. Будто бы я когда-то, когда не был еще мерзким старикашкой с перерубленным лопатой горлом, жил в полную силу и дышал полной грудью. Это сейчас я почти не дышу – много ли надо человеку, сидящему в углу комнаты давно уже необитаемого, заколоченного дома, который, возможно, и принадлежал ему когда-то? Верно, совсем немного. Иногда мне кажется, что я вообще не дышу, что силы мои поддерживает только жидкий чай, который странным образом у меня есть всегда. А дышать... Совершенно излишнее занятие. По крайней мере, халат, в который завернуто мое тело, совершенно не колышется, складки на нем – красивые складки, что там говорить – похожи на мраморные, будто у статуи. Даже когда я протягиваю руку за чайником, они остаются недвижимы. Значит, и грудь моя не вздымается от дыхания, если только не предположить, что весь необходимый мне кислород содержится в чае. Я много размышляю об этом, но недостаток образования не дает мне разрешить эту загадку. Если бы я знал химию или, к примеру, биологию, если бы я когда-нибудь учился им, тогда другое дело. Тогда я бы точно знал, есть ли в чае кислород, дышу ли я, что со мной происходит. А так я наталкиваюсь на неразрешимый вопрос в самом начале размышления и вынужден все время идти по кругу.

Да, так вот об истории, которую я придумал, чтобы не забыть хотя бы то, что осталось у меня в голове, мое вечное нет. Будто бы некогда я жил в полную силу и дышал полной грудью. Смешно, не правда ли? Я уже совсем не помню, что это такое, но придумал, что оно – было. То есть, они были, полная сила и грудь, полная кислорода, или чем там дышат, не знаю. Есть ведь слова, не правда ли? и они вполне могут заменить знание. Итак. Я раскладываю на столе слова «полная сила» и «полная грудь» и перемешиваю их. Игра не очень занимательная, так как фишек всего две, но мне выбирать не приходится. От стука этих фишек во мне возникает какое-то странное чувство, даже не волнение, а

проблеск волнения, будто жалкий закат за не мытым уже многие годы окном в комнате, где я живу. Впрочем, откуда я знаю, что это именно закат? Отчего не восход? Я же не знаю, на какую сторону света обращен этот дом, я даже не знаю, дом ли это вообще, – за пределами моей комнаты я не бывал никогда. Раньше, когда я жил в полную силу и дышал полной грудью, я много путешествовал и всегда мог сориентироваться, где восток, где запад, где север и где юг. Я даже умел определить, откуда дует ветер.

Когда я в своих рассуждениях дохожу до этого пункта, то всегда задаю себе один и тот же вопрос. Откуда я вообще знаю, что много путешествовал? С чего я это взял? Не провел ли я все свое детство, юность, взрослую жизнь, старость в одном и том же месте? В одном и том же населенном пункте? В одном и том же доме, например, вот в этом самом? Что же, на это у меня есть ответ. Если я решил, что жил в полную силу и дышал полной грудью, то я точно так же могу решить, что много путешествовал. Ведь согласитесь, человек, который живет в полную силу, который дышит полной грудью, чаще всего много путешествует. Сказавши «А», следует сказать «Б». Можно, конечно, представить себе домоседа, нашедшего массу интересных занятий в своем углу. К примеру, он собирает марки. Или почтовые открытки. Ему не нужно много путешествовать, так как весь мир умещается у него на ладони: вот он, крохотный четырехугольник с волнистым краем, а на нем – название экзотической страны. Или другой четырехугольник, побольше, с ровными краями, справа в верхнем углу – тот самый маленький четырехугольник, о котором я только что говорил, но помимо него там есть много чего еще. И картинка. И что-то написанное от руки. И штамп. Вот он, весь мир у тебя в руке.

Но скажу честно – это не для меня. Раз уж живешь в полную силу и дышишь полной грудью, то лучше путешествовать самому, а не сидя в своем углу с бумажными четырехугольниками в руках. Это я называю настоящей жизнью – знать стороны света, побывав там, на севере,

юге, востоке и западе, собственной кожей почувствовав, чем, скажем, северо-восточный ветер отличается от юго-западного. Я уверен, что когда-то выбрал именно этот путь. По крайней мере, так рассуждать логичнее, чем предполагать обратное. Мне же сейчас ничего, кроме логики, не остается, только слова, которые я могу складывать так и эдак, пустые фишки, ничего больше. Но мне этого вполне достаточно. Я неприхотлив: халат, чай, кресло; очень давно мне ничего больше не нужно. И я подозреваю, что не нужно было никогда.

Но я опять забыл об истории, которую я сочинил. Я всегда о ней забываю, увлекшись этой ерундой с марками и открытками. Как представлю себе их – когда-то яркие, пестрые, сейчас пожелтевшие от времени, как этот рассвет или закат в моем окне, – сразу забываю, что же хотел рассказать. Кому рассказать? Здесь я тоже попадаю в тупик, сколько ни пытайся его обогнуть. Если есть история, значит, она должна быть рассказана кому-то. Но я же здесь один, в этой комнате, в этом доме, если это, конечно, дом. Собеседников у меня нет. Когда-то, когда я жил в полную силу и дышал полной грудью, у меня было множество собеседников. Я был уморительным рассказчиком, вот что я вам скажу. Народ в пивной просто животики надрывал от моих историй. Я веселил служанку розыгрышами. Друзья наперебой зазывали меня в гости. Сейчас совсем другое дело. Я совершенно один, не считая, конечно, того, или тех, с кем я сейчас веду беседу. Ведь я с кем-то сейчас говорю, не так ли? Если бы это было не так, то и разговора бы не было – а я ведь уже столько времени треплюсь без умолку. Вы, конечно, можете сказать, что я веду беседу с самим собой. Верно. Но доказать это невозможно – так же, как и доказать, что я с кем-то сейчас вот говорю. Значит, мое утверждение можно – нет, не можно, а нужно – принять на веру, просто добавить фишек на этот стол. Вот их уже набралось немало: и «жить в полную силу», и «дышать полной грудью», и «путешествия», и «собеседники». Есть с чего начать историю.

Ограничусь сухим изложением фактов. В какой-то момент своей долгой жизни я осознал, что грешен. Нельзя сказать, что я сильно грешил, по правде сказать, я вообще не помню собственных прегрешений против божественных и человеческих установлений. Да и что такое, если вдуматься, грех? Какие бывают грехи? Дайте мне их классификацию (иезуитов попрошу не беспокоиться)! Молчите? То-то же. Что есть грех, когда проводишь вечность здесь, в этой комнате, в углу, попивая чаек? Не всегда так было, – скажете вы. Да, быть может. А может быть, и нет. Я не знаю. Когда я жил в полную силу и дышал полной грудью, я должен, просто обязан был грешить направо и налево. Иначе что такое полная сила? Полная грудь? Но вообще-то я не помню. В чем грех? Много говорят о прелюбодеянии, по крайней мере, некогда много говорили. По мне, так слишком много. Будь я биологом, я бы разъяснил, что ничего особенного тут нет – просто раздражение нервных окончаний, легкие судороги, прилив крови к различным частям тела. Жаль, я не учился, а если учился, то все забыл. Есть мнение, что для прелюбодеяния надо скинуть с себя одежду. Вот это уже слишком. Я никогда не раздеваюсь, мне и так хорошо, в углу, в кресле, с чаем. Я даже тряпок с шеи не разматываю. Зачем? Вдруг я кого-нибудь испугаю? Например, Вас? Или вот Вас – да-да, я Вас имею в виду! Не прячьтесь. Не делайте вид, что Вас тут нет! Иначе с кем же я разговариваю? А я ведь разговариваю, не так ли? Вы же слышите мой голос?

О чем я? О грехах. Да, они были. Или их не было, неважно. Главное, я решил, что грешен. Быть может, я много пил. Это-то вот не исключено. Вообще, пьянство – вот настоящий грех, настоящий порок. Это вам не в голом виде тереться друг о друга. Тут и размах, и общественная значимость. Вот ром, к примеру. Его ведь надо изготовить. Вырастить сахарный тростник, собрать урожай, сделать сахар, поставить брагу, перегнать ее, разлить по бутылкам, наклеить этикетки, привезти в другую часть света, расставить на полках специальных лавок или пивных, купить

стаканы, содержать их в чистоте... Сколько всего нужно сделать, чтобы я мог опрокинуть емкость-другую ненастным вечерком, как, к примеру, сегодня? Впрочем, я так и не знаю, вечер ли на дворе, утро ли. И насчет ненастья я тоже не совсем уверен – за грязным стеклом не разобрать. Если бы в пивных стаканы были такие же грязные, как мое окно, то. Что то? Я перестал бы туда ходить? Никогда. Какая разница, грязные они или нет. Там есть ром, и довольно. Это-то и есть истинный грех, настоящий порок, когда тебе все равно, грязные стаканы или нет. О да, я был грешен. Та же история приключалась и с виски, и с пивом. Они лились рекой в моем присутствии. Так, по крайней мере, мне кажется сейчас, когда ничего, кроме чая, я в глотку не вливаю. Вопрос заключается только в том, вливал ли я что-либо, кроме чая, раньше? И, если в чае есть кислород, а тогда я его не пил, предпочитая горячительное, то, значит, я тогда дышал? Полной грудью? И, соответственно, жил в полную силу? Не это ли главный грех?

В общем, все сходится. Я грешил и в какой-то момент осознал это. И решил от пороков избавиться. Сейчас я ничего этого не помню, но против логики слов не попрешь. Если фишки на столе выпали именно так, приходится смириться. Даже с тем, что был грешен, порочен и что страдал от этого. И ведь верно, страдал. Иначе зачем избавляться от пороков, столь сладостных и, положи руку на сердце, полезных для человечества? Что делали бы обитатели далеких южных стран, не будь пьянства? Для чего бы они выращивали сахарный тростник? Для кого гнали бы самогон? Нет, они просто поумирали бы с голоду, если бы не пьянство. Оттого отказаться от этого порока нелегко, для такого шага нужны веские причины. Только страдание может стать таковой. Получается, я страдал.

Вот так, из серой тьмы забвения я вытаскиваю события и факты своей жизни. Еще один ход моих фишек, и я знаю о своем прошлом почти все. Тут и пороки, и страдания, и нелегко давшиеся волевые решения. Моя жизнь была воис-

тину драматичной, в ней было все. Я жил в полную силу и дышал полной грудью. Это сейчас все, что мне нужно, – еще одна чашка чая. Это сейчас я не дышу, или почти не дышу, в любом случае, складки моего халата так и не шевельнулись. Это сейчас у меня почти нет собеседников, кроме Вас. Вас и Вас. Или Вы там в одиночестве? Сложно сказать. Иногда мне кажется, что здесь никого нет, что я разговариваю сам с собой. Иногда я совершенно явственно вижу человека, который слушает меня, разговаривая сам с собой. Иногда я вижу целых двух, как на той дороге, где меня убили. Между прочим, я совершенно не уверен, что меня убили. Я ведь это точно так же логически вывел, как и свое героическое прошлое, полное пороков и борьбы с ними. Вот как я рассуждал: раз у меня перерублено горло и имеется шишка на голове, то кто-то все это сделал. Вряд ли он совершил это из любви ко мне или даже шутки ради. Это не очень смешная шутка, согласитесь. И потом, она довольно утомительна для шутников. Подстергать, бить по голове, махать лопатой. Кстати говоря, лопату эту ведь еще и раздобыть нужно. Получается, что хотели убить и убили. Все сходится, если, конечно, не окажется, что под тряпкой нет никаких ран. Вот нет, и все тут. Но шишка-то есть? есть. Но я мог посадить ее и здесь, неловко потянуться за чайником и грохнуться с кресла прямо на пол. Интересно, шевельнулись ли в таком случае складки моего халата?

Вы спросите, почему я тогда не разматаю этих тряпок. Скажу честно, боюсь. Нет, не зрелища страшных ран, я их и не увижу, не пойду же я ради такого случая к зеркалу. Да и есть ли оно в этом доме? Ответить на этот вопрос я не могу, так как не знаю, есть ли этот дом вообще. Не может же быть такого: зеркало есть, а дома нет. Где оно тогда висит, это зеркало? Не ответив на такой вопрос, разматывать тряпки не следует. Но боюсь я все-таки не этого. Я боюсь новых вопросов.

Если раны есть, значит, я убит. Если я убит, то есть и убийцы. Зачем они убили меня? За что? Кто они? Не яв-

ляются ли убийцами люди, которых я знал когда-то? Или убийцы – те самые люди, с которыми я разговариваю? Сколько их? Один? Тот, который слушает меня сейчас, разговаривая сам с собой? Или их все-таки двое? Если он, они убили меня, то зачем пришли сейчас в этот дом? В эту комнату? Что они здесь ищут? Не хотят ли убить еще раз? Если да, то как можно убить того, кто уже убит? Сколько раз можно убить одного человека? Но и это еще не самое страшное. Я боюсь другого. Предположим, меня убили. Значит, я когда-то был жив, и еще как. Дышал полной грудью и жил в полную силу. Грешил направо и налево. Страдал и объявлял войну порокам. И вдруг кто-то зачем-то меня убивает. И вот вопрос: что со мной было потом? Почему я оказался здесь? Где я вообще? Сколько я просижу здесь, попивая чай? Вот отчего мне страшно, из-за внезапно возникшей определенности. Одно дело, когда ты не знаешь ничего, сидишь в своем углу, выхлебываешь одну чашку за другой, перебираешь фишки и ведешь беседы с учтивыми гостями, которых, к тому же, быть может, и просто-напросто нет. Все может быть и не может быть ничего. Любое слово может быть обращено против меня. И за меня. Я просто-таки гений двусмысленности, неопределенности, серой мглы, как та, что стоит сейчас за окном. Кстати, что там, утро или вечер? Не знаю.

И вдруг все меняется. Кто-то проводит решительную черту, разделив мою жизнь на до и после. На жизнь и после. Появляется точка перспективного и ретроспективного отсчета. Ого-го! Вот это я загнул! Не учился ли я математике когда-то? И вообще, быть может, я ученый с мировым именем? Химик? Биолог? Математик? Философ? Быть может, они убили меня за то, что я слишком много знал и знание мое ставило под сомнение устройство их мира? За это ведь можно перерубить глотку лезвием лопаты, не правда ли, молодой человек? А что скажет Ваш невидимый собеседник? Итак, они убили меня. И спокойная моя жизнь на этом кончается, ведь надо выяснить абсолютно все, все,

что было до и после. Задача для меня, в нынешних моих обстоятельствах, просто непосильная. Я же не могу взять и все бросить, принявшись за новое для себя дело! Прежде всего, я немолод и здоровье мое ни к черту, не говоря уже о том, что я, если следовать этой гипотезе, мертв. Вы когда-нибудь видели мертвецов, навещающих справки в местной полиции? То-то и оно. Думаю, отношение ко мне будет, мягко говоря, подозрительным, они потребуют документы, а где я их возьму? Конечно, я могу исхитриться, отправив за справками кого-то из живых. Но где я их возьму? Могу ли я заманить в эту комнату незнакомца, хотя бы под предлогом того, что здесь лежит клад, какой-нибудь железный ящик с деньгами? Предположим, что смогу. Денег у меня нет, хотя, как мне кажется, если хорошенько порыться под половицами, что-нибудь эдакое непременно найдется. Но дальше? дальше? Надо уговорить воришку отправиться в полицейский участок и навести там справки обо мне. Тот решительно откажется, какого черта ему делать в полиции, да еще и по делам совершенно постороннего мертвеца. Конечно, дурачка можно обмануть, скажем, намекнуть, что в полиции знают, где на самом деле находится тот самый ящичек с деньгами. Наплести ему с три короба, мол, они знают все на свете, а он уже и смекнет, что искомый объект входит в множество, описываемое словами «все на свете». И пойдет. Что скажете, молодые люди, молодой человек? Пойдет ли?

Но это только начало истинной мороки. Предположим, я узнаю, что и как было в те времена, когда я дышал полной грудью и жил в полную силу. И был ли я известным биологом, математиком, мыслителем. И почему я решил бороться с собственными пороками. И кто и как меня убил. После всего этого возникнет самый ужасный вопрос. Где я?

Ответа на него я не хочу. Я вообще ничего не хочу. Мне нравится сидеть вот здесь, в мраморном халате, с замотанным горлом, на голове – шишка, в руке – чашка чая. И не надо задавать мне дурацких вопросов! Вообще никаких

вопросов мне не надо задавать. Никаких, – Вы поняли, молодой человек, молодые люди? Я все равно буду говорить одно нет. Нет. Помните, я пообещал рассказать вам историю о том, почему я всегда говорю нет? Так вот, я ее рассказал. Вы меня что-то спросили? А? Нет.



Часть 3.

Способ  
текстообработки —

ТЕКСТОСОПРОВОЖДЕНИЕ

ФЛЭНН О'БРАЙЕН (МАЙЛЗ НА ГАПАЛИНЬ)

## BUCHHANDLUNG\*

Визит, нанесенный мной на днях приятелю, который недавно женился, навел меня на размышления. Мой друг – человек столь же состоятельный, сколь и вульгарный. Когда он занялся покупкой кроватей, столов, стульев и всякой всячины, ему вздумалось приобрести еще и библиотеку. Умеет ли он читать – сие мне неизвестно, однако своего рода первобытная способность к наблюдениям подсказала ему, что у наиболее уважаемых и почитаемых людей в доме обычно имеется множество книг. Итак, он купил несколько книжных шкафов и нанял какого-то пройдоху-посредника, чтобы тот набил их всевозможными новыми книгами, в том числе – весьма дорогостоящими фолиантами, посвященными французской пейзажной живописи.

Во время визита, заметив, что ни один из этих томов не успел побывать ни в чьих руках, я упомянул данный факт в беседе.

– Сперва обустроюсь как следует, – сказал этот глупец, – а там надо будет подтянуться по части чтения.

Вот это-то и навело меня на размышления. К чему вообще богатому человеку вроде него эти хлопоты – притворяться читающим? Не лучше ли найти профессионального книгообработчика, который должным образом измочалит его библиотеку – за определенную плату, по полочку? При наличии соответствующей квалификации такой человек мог бы сколотить целое состояние.

\* Flann O'Brien. The Best of Myles (Flamingo, 1993).

“Buchhandlung” – книжный магазин (нем.);  
дословно – книгообработка. Все примечания в этом тексте  
сделаны переводчиком.

### *Страницы загнутые: четыре штуки за пенни*

Позвольте мне пояснить, что именно я хочу сказать. У товаров в книжном магазине вид совершенно нечитанный. Вид у латинского словаря школьника, напротив, зачитанный до дыр. Понятно, что его открывали и просматривали раз, наверное, миллион, и если не знать о таком понятии, как «надранные уши», то можно заключить, что мальчишка без ума от латыни и не в состоянии вынести разлуки со своим словарем. То же – и с нашим недолюбым, который хочет, чтобы друзья, окинув взглядом его дом, приходили к выводу о его высоколостости. Он покупает книгу о русском балете, возможно, написанную на языке этой далекой, но прекрасной страны. Наша задача состоит в том, чтобы за достаточно короткий срок эту книгу видоизменить – так, чтобы каждый, кто на нее посмотрит, решил: ее владелец практически дневал и ночевал с ней многие месяцы. Можно, если угодно, поразмышлять о создании машины, приводимой в действие небольшим, но эффективным, работающим на бензине мотором, которая будет «прочитывать» любую книгу за пять минут; иначе говоря, результат пятилетнего или десятилетнего чтения будет достигаться простым поворотом рукоятки. Однако это – дешевый прием, бездушный, как время, в которое нам с вами приходится жить. Ни одной машине не под силу работа, какую способны выполнить мягкие человеческие пальцы. Единственным настоящим решением этой социальной проблемы современности является обученный, опытный книгообработчик. В чем его функция? Как он ее выполняет? Сколько он будет брать? Какие виды услуг по обработке предоставлять?

На эти и многие другие вопросы я отвечу послезавтра.

\* \* \*

### *Мир книг*

Так вот, к вопросу о книгообработке. На днях я высказывался по поводу нужды в профессиональных книгообработчиках, людях, которые будут измочаливать книги безграмотных, но состоятельных выскочек с целью придать им такой вид, словно владельцы их многократно читали и перечитывали. Сколько видов измочаливания следует применять? Не мудрствуя лукаво, я бы предложил четыре. Предположим, опытного обработчика просят оценить стоимость обработки одной книжной полки длиной четыре фута. Он дает оценку по следующему четырем разрядам.

«Обработка “Народная”. Каждый том обрабатывается должным образом, в каждом загибается четыре листа, в каждый вкладывается трамвайный билет, гардеробный номерок или другой эквивалентный предмет в качестве забытой закладки. Цена – около 1 ф. 7 ш. 6 п. Госслужащим скидка пять процентов».

«Обработка “Праздничная”. Каждый том обрабатывается тщательным образом, в каждом загибается восемь листов, как минимум в 25 томах подходящей параграф подчеркивается красным карандашом, в каждый вкладывается реклама изданий Виктора Гюго на французском в качестве забытой закладки. Цена – около 2 ф. 17 ш. 6 п. Студентам-филологам, сотрудницам социальных служб и госслужащим скидка пять процентов».

### *Каждому по карману*

Замечательно в этой прогрессивной шкале то, что она никого не оставит в глазах общества невежественным или необукваренным по причине одной лишь бедности. Напомним, что не все неучи богаты, хотя я мог бы называть...

Впрочем, неважно. Перейдем к более дорогим вариантам обработки. Следующий определенно стоит того, чтобы за него доплатить.

«Обработка “Люкс”. Каждый том измочаливается нещадным образом, корешки томов малого размера повреждаются так, чтобы создавалось впечатление, будто их носили в карманах, в каждом один параграф подчеркивается красным карандашом, рядом на полях ставится восклицательный или вопросительный знак, в каждый вкладывается старая программка театра “Гейт” в качестве забытой закладки (за возможность использования старых программ “Эбби” скидка три процента), как минимум 30 томов обрабатываются кофе, чаем, портером или виски до появления старых пятен, как минимум пять томов надписываются авторами (автографы подделываются). Управляющим банками, инспекторам администрации графств и главам предприятий со штатом не менее 35 человек скидка пять процентов. Загнутые страницы – за отдельную плату, вставляются согласно инструкциям, два пенса за подложки на том. Альтернативные старые программки парижских театров – по требованию; цена договорная. Услуга предоставляется в течение краткосрочного периода, цена после вычетов 7 ф. 18 ш. 3 п.».

### *Торопитесь с заказом*

Четвертый разряд – обработка «Идеал», хотя больше ей подходит другое название: «Le Traitement Superbe» – так будет правильнее. Она настолько идеальна, что сегодня у меня на нее не хватит места. Прочсть

\* Дублинские театры «Гейт» и «Эбби» с давних пор конкурировали друг с другом. «Гейт» считался местом более серьезным – там отдавали предпочтение европейской драматургии, тогда как в «Эбби» ценили так называемые «кельтские традиции» и ставили в основном ирландские пьесы.

о ней можно будет здесь же в следующий понедельник, причем по такому случаю “The Irish Times” выйдет на ручной трепки, под старину, покрытой плетеным узором, полуизмельченной, сверхтонкой голландской бумаге, каждый экземпляр будет подписан мною лично, и прилагаться к нему будет прелестное изображение Старого дома на Колледж-грин, выполненное в виде трехцветной литографии. Вам следует по меньшей мере сделать предварительный заказ на газету.

И еще одно. Простого заказа недостаточно. Заказ должен быть *предварительным*.

\* \* \*

Читатель наверняка помнит (силы небесные, разве такое возможно забыть!), что в прошлую пятницу я излагал свои соображения на тему о книгообработке – предложенной мною новой услуге, состоящей в доведении книг невежественных людей, желающих, чтобы их подозревали в чтении, до состояния захватанного, измочаленного – так, чтобы создавалось впечатление, будто владелец не представляет себе жизни без них. Я описал три вида обработки и пообещал разъяснить, на что вы можете рассчитывать, уплатив за четвертый разряд – обработку «Идеал», или «Le Traitement Superbe», как предпочитаем называть ее мы, парни, проводившие медовый месяц в Париже. Данная услуга, разумеется, самая дорогостоящая из всех, однако это – сущие гроши, если подумать о той высоте, на которую поднимется ваш престиж в глазах ваших достойных осмеяния друзей. Теперь – подробности.

Обработка «Le Traitement Superbe». Каждый том должным образом обрабатывается, сначала квалифицированным обработчиком, затем – мастером по обработке, послужной список которого должен включать в себя не менее 550 обработ-часов; как минимум в 50 процентах

книг подходящий параграф подчеркивается красными чернилами высокого качества, на полях оставляется соответствующая фраза из нижеследующего списка, как то:

Чушь!

Да, действительно!

О, как это верно!

Никак не могу согласиться.

Почему?

Да, но ср. Гомер, “Од.”, iii, 151.

Что ж...

Пожалуй, но Боссюэ\* первым отметил данный факт в “Discours sur l’histoire Universelle” и привел куда более сильное обоснование.

Глупости, глупости!

Прекрасно подмечено!

Но почему, ради всего святого – почему?!

Помню, то же самое говорил мне бедняга Джойс.

Стоит ли говорить, что поставка фраз из серии «Специальное и индивидуальное» осуществляется по особому преискуранту; оценку можно получить в любое время. Доплата, если вдуматься, не столь уж большая.

### *В дополнение*

Это, разумеется, еще не все. Что вы скажете на такое?

Как минимум шесть томов надписываются; текст сочиняется в форме изъявлений любви и благодарности от автора каждой книги. Например:

\* Жак Бенинь Боссюэ – знаменитый французский богослов и проповедник второй половины XVII-го века. Член Французской Академии. В “Discours sur l’histoire Universelle” развивал теорию провиденциализма.

“А.Б., старому другу и коллеге-писателю – от Джорджа Мура, с самыми теплыми воспоминаниями”. “Милый А.Б.! В знак благодарности за Вашу небывалую доброту посылаю Вам этот экземпляр “Кувшина золота”. Ваш старый друг Джеймс Стивенс”.

“Что тут скажешь, А.Б.? Жизнь продолжается для нас обоих. Я, хоть и считаюсь теперь хорошим писателем, не настолько стар, чтобы забыть то бесконечное терпение, которое Вы проявили в давние времена, наставляя некоего юнца на путь литературы, куда он и направил свои стопы. Примите же от него в дар очередную книгу – пускай слабую – и, прошу Вас, помните, что я остаюсь на веки вечные Ваш друг и почитатель, Дж. Б. Шоу”.

“От верного друга и последователя, К. Маркса”.

“Дорогой А.Б.! Ваши неоценимые предложения и помощь – не говоря уже про любезность, – запомнившиеся мне с тех пор, когда Вы взялись целиком переписать третью главу, дают Вам полное право на обладание этим первым экземпляром “Тэсс”. От старого друга Т. Харди”.

“Не имея счастья повидаться с Вами лично, милейший А.Б., посылаю Вам – увы, и только! – этот экземпляр “Негра”\*. Слов нет выразить, до чего мне не хватает Вашего общества. (подпись неразборчива)”.

Под этой последней дарственной надписью идиота-владельца книжки попросят поставить (а если потребуется, то и покажут, как) фразу “В старине Конраде что-то было”.

Объяснения на сей счет вышли пространнее, нежели я предполагала. За те жалкие 32 ф. 7 ш. 6 п., что будет стоить вам обработка «Идеал», вы получите куда больше, нежели вышеописанное. Через пару дней я надеюсь поведать вам о старых письмах, вставляемых в некоторые

\* Имеется в виду роман Джозефа Конрада «Негр с “Нарцисса”».

книги в качестве забытых закладок, каждое – превосходная подделка. Торопитесь с заказом!

### Книгообработка

Я обещал посвятить еще несколько строк четвертому уровню книгообработки – услуге «Идеал».

Приведенная мной цена включает в себя помещение как минимум в десять томов определенного рода старых писем, якобы использовавшихся в свое время в качестве закладок и позабытых. На каждом письме будет стоять подразумеваемый автограф того или иного хорошо известного прохиндея, имеющего отношение к балету, декламации стихов, народным танцам, резьбе по дереву или другой подобной деятельности, неподвластной правилам в степени, достаточной для того, чтобы привлекать целые толпы недолобых. Каждое письмо будет безупречной подделкой, где А.Б., владельца книги, благодарят за его «любезнейший интерес к моей работе», упоминают его «неоценимые советы и наставления», его «не знающее равных понимание» пресловутых ужимок и прыжков, его «терпение и умение, проявленные при командовании войсками ночью с понедельника на вторник», где ему кланяются за щедрый – слишком щедрый – взнос на сумму двести гиней, «признательность за каковой я не в состоянии выразить словами». Последним писком моды, обязанным привлечь клиента, будет одно дополнительное письмо, включенное в коллекцию бесплатно. Оно будет подписано (предположительно) кем-нибудь из тех излишне шумных молодых людей без роду без племени, что своим присутствием оказывают честь нашей прекрасной стране. Таким образом мы удовлетворим отчасти присутствующее у большинства уважаемых пошляков желание – содержать второе заведение на этой несколько запруженной дороге, улице Должников.

Джентльмены, связанные со мной по линии дублинского отделения АПАХиМа\*, успели понять, что сезон сбора наличных с простого народа посредством написания прошений, тронутых заразой искусства, закончился, а сообразив, обратили свое внимание на новые поприща и аферы деятельности. Дельце, которое мы недавно задумали повернуть – Книжный клуб Майлза на Гапалинь. Вступите в него, и вы будете избавлены от нервотрепки, вызываемой необходимостью выбирать книги самому. Выбираем за вас мы. Книга поступает в вашу библиотеку *предварительно потертой*, т.е. подвергнутой обработке наших экспертов, причем бесплатно. Вы избавлены от забот – не надо пачкать и затрепывать ее с целью вызвать у друзей впечатление, будто вы умеете читать. Среди присланных будут время от времени попадаться и запрещенные книги – для тех, кто любит беседы вроде следующей.

- Послушайте, старик, вы это читали?
- Честно говоря, не припоминаю.
- Знаете ли, дружище, это – книжка запрещенная.
- Ой!

Наша служба организована без глупостей, связанных с заполнением анкет и заказом брошюр, без прочих тому подобных раздражающих помех. Все, что от вас требуется – уплатить одну гинею, и вы немедленно становитесь участником этого великого культурного движения ирландского народа.

### Конструктивная критика

Время от времени мы печатаем и распространяем труды, написанные специально для Клуба членами АПАХиМа. Экземпляры загодя рассылаются известным

\* Ирландская Ассоциация писателей, актеров, художников и музыкантов, нередко упоминаемая в фельетонах Майлза.

критикам с приложением суммы, обычно потребной на их подкуп, сколько бы она ни составляла. Одному человеку мы послали десятку вместе с новой книжкой и попросили его сказать, что, стоит только взять ее в руки, как отложить в сторону уже невозможно. Этот на редкость самоуверенный дурачина вернул посылку, сопроводив ее наглой запиской, где сообщал, что его цена – двенадцать и шесть пенсов. Наш ответ не заставил себя ждать. Посылка отправилась обратно вместе с двенадцатью шиллингами и шестью пенсами, а также коротким посланием, где говорилось, что мы согласны на условия этого джентльмена. В надлежащий срок мы напечатали те лестные комментарии, которые я упоминаю выше.

Однако мы особо позаботились о том, чтобы уж в этом-то случае слова нашего критика оказались правдивы. Обложка издания была обработана невидимым клеем специального типа, действие которого начинается только под влиянием тепла рук. Когда, по завершении краткого просмотра книги, наш друг собирался было отбросить ее, то обнаружил, что она практически сделалась частью его физического «я». Мало того, что обложка пристала к его пальцам – весь фолиант начал разлагаться, превращаясь в вязкое месиво липучей гадости. Отложить книгу было невозможно, разве что решишь он на ампутацию обеих рук. Он вынужден был неделю повсюду ходить с этой книгой и сдать ее на милость своей служанки, кормившей его, словно младенца. Избавиться от шедевра ему удалось лишь посредством прохождения курса нестерпимо горячих ванн, после которого он сделался слаб, как котенок.

Вот такие нравы царят у нас в АПАХиМе.

Нас захлестнул бурный поток писем (обратите внимание: когда речь заходит о потоке писем, он непременно бурен и не может не захлестнуть) касательно книгообработки – службы, официальное открытие которой

состоялось в моем дублинском отделении АПАХиМа. Успех достигнут огромный. Наши квалифицированные обработчики отправляются на задания в дома самых богатых и самых невежественных сограждан, где занимаются тем, что треплют, гнут, бьют и грызут девственно-нетронутые книги целыми шкафами. Наши печатные станки сотнями тысяч выдают на-гора поддельные программки театров «Гейт» и «Эбби», не говоря уже о листовках на французском, письмах, собственноручно подписанных Джорджем Муром, средневековых играль-ных картах и всевозможных атрибутах надувательства и притворства.

Конечно, без паршивой овцы в стаде не обошлось. Кое-кого из наших обработчиков ловили на использовании ботинок, других заставляли за избиением невинных поэтических томиков кнутами, цепями и деревянными дубинками. Случались и зверские нападения на книги с применением ножей, кинжалов, кастетов, топориков, резиновых шлангов, бритвенных лезвий и всевозможных орудий насилия, о каких когда-либо слышали в преступном мире. Начинающие обработчики, которым было невдомек, что отпечатки зубов на обложке книги не могут быть признаны доказательством того, что владелец ее читал, порой натаскивали терьеров, приучая их терзать книгу, словно крысу. Один человек (больше он у нас не работает) был послан в дом в Килменэме, а позже обнаружен в зоопарке за передачей ценных книг своего клиента шимпанзе Чарли. Некий обработчик – выходец из сельской местности «зачитал» свои книги до полной неузнаваемости, разложив их на лужайке клиента и прибегнув к помощи лошади с бороной, в результате чего впахал их в землю, лишь тогда сообразив, что зашел слишком далеко. Как видно, умеренность – вещь, чрезвычайно редко встречающаяся в нашей стране.

Кирилл Кобрин

## ОШИБКА

Утром 16 июня 1954 года в Сэндимаунте, юго-восточном пригороде Дублина, к побережью моря подъехал старомодный кэб, которым правил носатый возница, мрачно зыркавший из-под густых бровей. В кэбе сидели шестеро джентльменов в костюмах, при галстуках, а некоторые – и при шляпах. У приземистой башни Мартелло, где располагалось закрытое по причине раннего часа кафе, в котором в прочее время редкий путешественник мог выпить чашку чая с сэндвичем, кэб остановился. Пассажиры вышли из него и направились к дому архитектора Майкла Скотта, который стоял, как бы отодвинутый несколько вглубь, будучи отделен от башни каменной изгородью, опутанной проволокой. Джентльменов ждали. Несмотря на ранний час, хозяин предложил им по стаканчику виски. Выпивка оживила гостей; один из них – худой, высокий, нескладный, с огромными очками на большом крестьянском лице, – сдвинув на затылок нелепую шляпу, решил смеха ради вскарабкаться на изгородь. Несколькими мгновениями позже за ним последовал еще один – низенький, с одутловатым бледным лицом, тоже в шляпе, еще более нелепой, нежели у первого. Залезть наверх он так и не смог, оттого довольствовался тем, что пытался стянуть за ногу своего приятеля. Оставшиеся криками заставили соперников вернуться, и вся группа, чинно распрощавшись с гостеприимным архитектором, направились к башне. Там произошла еще более странная вещь: один из джентльменов вытащил толстенную книгу и принялся читать ее вслух, причем с самого начала. Кэбмэн, с неудовольствием поглядывавший на своих затейливых пассажиров, попытался было

понять, о чем шла речь в книге, однако это были даже не стихи, которые стоило бы читать вслух, нет, в ней какой-то Бык Маллиган намеревался тщательно выбриться с утра, но некий Стивен своими дурацкими разговорами не давал ему сосредоточиться. Или наоборот, этому самому Быку не шибко хотелось бриться, и он отлынивал, тыркая приятеля... В общем, полная чепуха; к тому же, каждое второе слово было совершенно непонятно, хотя и звучало по-английски. Пассажиров извиняло лишь одно: влить в себя в 7 утра порцию виски – тут любой начнет дурачиться и с ума сходить. Меж тем, джентльмены кончили читать, один из них – кажется, самый пожилой – полез в кэб за фотоаппаратом и, заставив остальных стать рядом, щелкнул несколько раз. Потом он зачем-то сфотографировал башню и кэб с возницей; дальше тот самый дылда-верхолаз отобрал у него аппарат и без предупреждения снял своего соперника по покорению каменных изгородей. Наконец все забрались в экипаж и уехали в Дублин.

Эти фотографии сейчас передо мной. На одной из них – группа из пяти человек; в центре стоит невысокий мужчина с пронзительными глазами, с большой головой, увенчанной шляпой с широкими полями, он одет в строгую тройку, одна нога чуть отставлена назад, корпус несколько наклонен вперед, будто он собирается произносить речь перед митингующими. И вправду, он похож на какого-нибудь пламенного оратора начала прошлого века на митинге – социалистическом или националистическом, неважно. Кажется, сейчас он взмахнет рукой и примется громить капиталистов, империалистов или юнионистов... Но все это лишь видимость, к тому же на дворе не 1904 и не 1914, а 1954 год, и наш оратор – никакой не оратор, а отставной высокопоставленный чиновник министерства местного самоуправления Брайен О'Нолан (или, как он порой называл себя по-ирландски, «Бриан О Нуаллан»), известный также (под псевдони-

мом Майлз на Гапалинь) как ядовитый колумнист газеты “The Irish Times”. Как раз в тот самый день, 16 июня 1954 года, в пятидесятилетний юбилей «Блумсдэя», когда О’Нолан с приятелем-киношником организовал, кажется, первое паломничество по маршруту монструозного джойсовского «Улисса», “The Irish Times” напечатала очередную колонку Майлза, в которой автор преспокойно обвинил полиглота Джойса в безграмотности: «Его нечастые экскурсии в древнегреческий неверны, а редкие попытки построить гэльскую фразу абсолютно чудовищны».

Итак, спустя пятьдесят лет с того дня, когда Леополд Блум жарил себе на завтрак свиную почку, а Стивен Дедал выслушивал спотыкающиеся ответы учеников об обстоятельствах гибели эфирского царя, Брайен О’Нолан с друзьями совершил паломничество по маршруту скитаний двух героев однодневного эпоса Джойса. В тот же день Майлз на Гапалинь обозвал творца многоязычного универсума *Finnegans Wake* – невеждой<sup>\*</sup>. Но во всей этой истории был еще третий персонаж – Флэнн О’Брайен: под этим псевдонимом О’Нолан опубликовал в 1939 году роман «О водоплавающих»<sup>†</sup>. Накануне пятидесятилетия «Блумсдэя» писателю О’Брайену предложили отредактировать специальный номер журнала “*Envoy*”, посвященный Джеймсу Джойсу. О’Брайен поначалу с раздражением отказался, но в конце концов нехотя согласился и даже написал для журнала смешное эссе, повествующее об одном дублинском пьянице, который повадился залезать в вагоны-рестораны, стоящие

\* Это был не первый выпад популярного колумниста в адрес Джойса.

† Вынужден пользоваться столь далековатым переводом названия этого романа (“*At-Swim-Two-Birds*”), которое действительно очень трудно точно переложить на русский. По крайней мере, именно под названием «О водоплавающих» этот роман известен русскому читателю.

в железнодорожном депо, чтобы на дармовщинку истрепать запасы виски, приготовленные для пассажиров. Ворованный виски он пьет, запершись в вагонном туалете, сидя на стульчаке – чтобы никто не помешал. Однажды этот герой увлекся своим занятием и не заметил, что его вагон, забытый железнодорожниками, неделю простоял в каком-то темном тоннеле. О’Брайен говорит, что этот любитель виски и одиночества очень напоминает Джойса. Сложно сказать, что именно имел в виду автор, но мотивы столь странного оммажа великому земляку очевидны; достаточно сократить название журнала, где было напечатано эссе О’Брайена, на одну лишь букву – ‘о’<sup>\*</sup>.

Но вернемся к нашим паломникам, которых мы оставили в кэбе, направлявшемся в Дублин. Всю дорогу О’Нолан был убийственно серьезен и строго следил за выполнением условностей ритуала, которого, впрочем, еще не существовало. Кстати говоря, каждый из участников той джойсовской церемонии символизировал кого-то из персонажей «Улисса» (или жизни самого его автора). Еврей Кон Левенталь играл роль Леополда Блума; Энтони Кронин, тогда – молодой поэт, позже – автор биографии писателя О’Брайена, где я обнаружил те самые снимки у башни Мартелло, был, конечно, Стивеном Дедалом; кинорежиссер Джон Райан, который описал перипетии (и *перепитии!*) юбилея «Блумсдэя», был газетным редактором Майлзом Кроуфордом. Дантист Том Джойс, не прочитавший ни единой джойсовской строчки, символизировал всю семью Джеймса Джойса, тем паче, что он был кузеном писателя. Поэт Патрик Каванах – тот самый нескладный верзила в очках – был назначен изображать музу. Наконец, сам О’Нолан сочетал в себе сразу двух персонажей: отца Стивена Дедала – Саймона, жалкого старика, пропившего все, кроме дивного голоса, и за-

\* “*envoy*” – посланник, “*envy*” – зависть.

ботливого, рассудительного, положительного Мартина Каннингема. Эти роли странно соответствовали характеру и жизненным обстоятельствам самого О'Нолана – к 1954 году он уже был горьким пьяницей, если не алкоголиком, к тому же, после смерти отца в конце тридцатых он в течение долгих лет содержал мать и братьев. В ходе джойсовского паломничества О'Нолан присматривал не только за порядком перемещения от одного улиссового топоса к другому, но и за поведением своих непоседливых товарищей. По дороге на Гласневинское кладбище он заставил их вести себя так, как подобает участникам похоронной процессии. Он не давал им горланить в пути песни (что было довольно сложно, учитывая утренний виски, который лакировался по мере прохождения назначенных пунктов). Он ворчал на Кронина и Каванаха, которые отобрали у возницы поводья и намеревались сами поуправлять экипажем. Он вдруг растерял все свое чувство юмора, настаивая на скрупулезном и уважительном следовании маршрутам Леопольда Блума и Стивена Дедала. Впрочем, даже будучи сверхсерьезным, О'Нолан умудрился в тот день стать участником комической сценки, выдержанной вполне в духе фельетонов Майлза на Гапалинь. Направляясь в Гласневин, компания заехала в паб, чтобы в очередной раз промочить горло. Хозяин, привыкший, что в его заведение заглядывают в основном по пути на кладбище, поспешил выразить свои соболезнования О'Нолану, которого он (и небезосновательно!) принял за распорядителя похорон. «Надеюсь, покойный – не Ваш близкий», – любезно предположил он. О'Нолан тихо ответил: «Нет, просто друг, один парень, звали его Джойсом, Джеймсом Джойсом». Хозяин задумчиво повторил несколько раз «Джеймс Джойс...», выставляя компании стаканы с виски, и затем спросил: «Не тот ли строительный подрядчик с Вулф Тон Сквэр?». О'Нолан нетерпеливо перебил его: «Нет-нет. Сочинитель». Кабатчик возопил: «А! Так это тот, который вы-

вески сочинял! Малыш Джимми Джойс с Ньютон Парк Авеню, сочинитель вывесок; но, позвольте, он же сидел на этом стуле еще в прошлую среду... нет, вру! В прошлый четверг!»\*.

В этом стремлении педантично, шаг за шагом, создать (разыгрывая в первый раз) ритуал под названием «юбилей “Блумсдэя”» чувствуется что угодно, только не почтительность робкого ученика или любовь пылкого почитателя. Скорее наоборот – О'Ноланом, вероятно, двигало стремление отделаться наконец от настоящего Джойса, превратив его в легендарную и неопасную фигуру, а празднование «Блумсдэя» – в еще один милый предрассудок дублинских обывателей<sup>†</sup>. Тогда – в 1954 году – он (во всех трех своих ипостасях: дублинского интеллигентного обывателя, фельетониста и прозаика) нанес ненавистному Джеймсу Джойсу тройной удар: назвав невеждой, сравнив с алкоголиком-воришкой, заснувшим в обнимку с бутылкой в вагонном сортире, и превратив главный его шедевр в путеводитель. На первый взгляд, однако, эта затея не удалась – ничто не могло помешать уверенному пути благополучно умершего за 15 лет до этого Джойса в «классики XX-го века», в главные ирландские писатели всех времен, а его сочинений – на страницы десятков тысяч статей, эссе и диссертаций, где

\* И после этого недоброжелатели говорят, что Джеймс Джойс – «автор для высоколобых», «писатель для писателей!»! Эту сцену мог разыграть лишь усердный читатель «Улисса»: в романе совершенно теми же словами дублинские пьяницы встречают известие о смерти Патрика Дигнама.

† Как бы он удивился и обрадовался, наблюдая недавний бессмысленно-пышный столетний юбилей “Блумсдэя”! Что написал бы в своей колонке Майлз на Гапалинь по поводу одного только бесплатного завтрака на 10 тысяч особ, который подавали почему-то на О'Конелл-стрит! Некий английский фельетонист, явно прошедший школу Майлза, назвал этот завтрак «джойсовский Гарри Meal» – на манер детского меню в «Макдональдсе».

«Дублинцев», «Портрет художника в юности», «Улисса» и “Finnegans Wake” сравнивали со всем корпусом мировой литературы от (что закономерно) «Одиссеи» до любого новейшего романа. В числе этих «новейших романов», ставших подручным сырьем для «джойсовской литературоведческой индустрии», оказался и первый роман Флэнна О’Брайена.

Кошмар начался с того, что «О водоплавающих», кажется, был последним романом, который полуслепой Джойс прочел без посторонней помощи. И, прочитав, похвалил. Похвалу эту О’Брайену любезно передавали разные люди, в том числе и Сэмюэл Беккет – еще одна жертва джойсовского гения. Кошмар этот отгиснут на любом современном издании «Водоплавающих» в виде рекламных цитат на обложке вроде: «Флэнн О’Брайен – лучший ирландский романист после Джойса». Чувствуете? «После Джойса!» Впрочем, следует заметить, что проклятие Джойса нависло над романом О’Брайена отнюдь не случайно. Автор сам напросился.

«О водоплавающих» – результат прочтения «Портрета художника в юности» и «Улисса» молодым одаренным писателем, не знающим пока, о чем и как ему надо писать. Не следует забывать, что эти сочинения Джойса в Ирландии 30-х годов воспринимались почти как новинки – их издали относительно недавно, а «Улисс» был вообще запрещен, и его привозили контрабандой с континента. Один из приятелей О’Нолана вспоминал в 40-е годы, что прочел «Улисса» в обратном порядке: гигантский роман был издан в двух томах и ему сначала попался в руки второй том\*. Впрочем, сам О’Нолан основательно познакомился с сочинениями Джойса, еще учась в университете. А познакомившись,

\* А Энтони Кронин утверждает, что прочел «О водоплавающих» раньше «Улисса», оттого первый роман произвел на него гораздо большее впечатление, нежели второй.

принялся за собственный роман. Главный герой «Водоплавающих» – пародия на главного героя «Портрета художника в юности» Стивена Дедала; он тоже, в своем роде, «художник»,\* только нет в нем ни ультраромантических порывов, ни дедаловских взлетов и падений, ни воспаленного католицизма и проклятий в адрес церкви, ни терзаний больной совести и иезуитского анализа этих самых терзаний. Герой О’Брайена равнодушен к самой мучительной теме Стивена Дедала – Ирландии; более того, у него нет даже имени – не только такого, как у джойсовского героя, красноречиво говорящего об отщепенстве и творчестве, нет, у него вообще нет никакого имени. Стивен Дедал – юный поэт, покидающий родину из любви к ней, – следует собственному же афоризму: «Путь в Тару лежит через Холихэд»†. Его жизнь до бегства из Ирландии становится, в конце концов, романом; жизнь художника становится книгой. О’Брайен высмеял этот простоватый романтический трюк. Его безымянный герой старается вообще не покидать собственной спальни, где он обычно возлежит на кровати и либо предается приятнейшему ничегонеделанию, либо составляет – да, именно «составляет» – свой роман. В этом романе нет ровным счетом никакого «содержания» в традиционном смысле этого слова; его содержание есть сам процесс написания романа и крайняя озабоченность формальной стороной дела. В сущности, «Водоплавающие» представляют собой смесь заметок героя-автора, повествующих о

\* Английское “artist” в названии джойсовского романа “Portrait of the Artist as a Young Man” означает не только, собственно, «художника» в узком значении этого слова (то есть, живописца, скульптора и так далее), но и вообще человека искусства, «художника» в широком смысле.

† Тара – один из главных политических и культурных центров древней Ирландии, для ирландских патриотов рубежа XIX–XX-го веков – символ былого величия и залог грядущего возрождения. Холихэд – порт в Британии, куда приходят паромы из Ирландии.

его редких походах в университет, равнодушных стычках с дядей-опекуном и довольно дурацких беседах с друзьями за пинтой портера, с целым рядом параллельно развивающихся абсурдных повествований, пародирующих разные жанры ирландской и англоязычной литературы: от древних саг до ковбойских романов. Постепенно все эти столь разные повествования переплетаются, и складывается даже некий сюжет, точнее – два сюжета. В одном герой завершает книгу, заканчивает, несмотря на непреодолимую лень, университет и мирится с дядей. В другом сюжете – более населенном и оживленном – персонажи всех остальных параллельных повествований собираются вместе, чтобы устроить суд над посредником между героем-автором и ими самими. Посредник – романист Треллис, неустанный лежебока, плагиатор и ничтожество – придуман для того, чтобы сочинять (или перелицовывать) все эти истории про безумного короля Суини, легендарного вождя Финна Мак Кула, злого духа Пуку Фергуса Мак Феллими, ковбоев, которые пасут скот почему-то в дублинских пригородах, некоего Ферриски, который появился на свет сразу в двадцатипятилетнем возрасте, с прокуренными зубами и даже с пломбами в этих зубах\*, и многих других. Кстати говоря, вот этот-то суд персонажей над автором и сделал «О водоплавающих» столь удобным примером для разного рода постструктуралистских теоретических построений. Начиная с 60-х годов прошлого века О'Брайена стали называть чуть ли не «первым постмодернистом»†, помещать его имя в достославный перечень писателей, предсказавших

\* Идея творения, так сказать, не «с нуля», а «с середины», когда на свет появляется нечто, уже имеющее историю и следы этой истории на своем теле, ужасно понравилась бы Борхесу, который посвятил ей эссе «Сотворение мира и Ф.Госс».

† С наименьшим основанием так можно было бы обозвать и Константина Вагинова – автора «Трудов и дней Свистанова», написанных ровно за 10 лет до «Водоплавающих».

знаменитую «смерть автора», которую лет тридцать назад с воодушевлением констатировали французские гуру с фамилиями Барт и Фуко.

Между тем, если безымянный герой «Водоплавающих» – пародия на Стивена Дедала, то формальное изобретение, сделанное О'Брайеном в первом его романе, развивает и доводит до абсурда открытия, сделанные Джойсом в «Улиссе». В 14 эпизоде «Улисса» («Быки солнца») Джойс пародирует с дюжину различных авторских стилей – от Тацита и средневековых хроник до кардинала Ньюмена. О'Брайен идет дальше – он составляет свой роман из жанровых стилизаций, сводя их в конце в издевательскую коду, отрицающую романтическую идею «авторства» вообще. Джойс перебирает и перетасовывает корпус литературы, пытаясь «оживить» его, высечь из него искру чувства, страсти, смысла. О'Брайен исключает возможность всякого смысла вообще, его занимает механическое сочетание способов письма: чем нелепее получается результат, тем больший (вполне в духе русских обернутов) предполагается художественный эффект. Получается, что, демонстрируя бессмысленность литературы, он обесмысливает и подвиг великого модерниста Джойса, затеявшего «литературную революцию». Джойс высмеян, преодолен, повержен – таков итог первого романа О'Брайена. Никто из прочитавших роман и похваливших его этого не заметил: ни сам Джойс, ни Беккет, ни Грэм Грин. Ошибка современников искалечила дальнейшую литературную карьеру О'Брайена.

За 15 лет, прошедшие с момента издания «Водоплавающих» до памятного юбилея «Блумсдэя», Флэнн О'Брайен написал удивительный роман «Третий лицейский», но не смог найти на него издателя; Брайен О'Нолан успел сделать недурную служебную карьеру, стать алкоголиком, жениться и быть уволенным; наконец, в эти годы появилась и третья ипостась нашего

героя – Майлз на Гапалинь\*, язвительный двуязычный колумнист, издавший, к тому же, уморительный и страшный роман, название которого тоже довольно сложно перевести на русский: то ли «Пустой рот», то ли, как это остроумно сделала русская переводчица Анна Коростелева, «Поющие Лазаря». В основном это были 15 лет неудач: со службы уволили, один роман не издали, другой толком не прочли, ибо написан он был по-ирландски, а кто читает на этом языке? Хуже того, его считали неудачником; и не только считали, а фактически публично называли таковым.

В 1947 году в дублинском журнале «Белл» появилась статья, которая, несмотря на то, что называлась «Майлз на Гапалинь», была посвящена прежде всего Флэнну О'Брайену. Автор статьи Томас Вудс укрылся под своим обычным литературным псевдонимом «Томас Хоган»; как и О'Нолан, Вудс был государственным чиновником, алкоголиком, обожал псевдонимы, как и Майлз, он был фельетонистом, к тому же – как и О'Брайен – недоволен своей литературной карьерой. В этой статье он попытался переадресовать собственное недовольство другому. Текст написан в самых пошлых традициях провинциальной литературной критики, вроде нынешней российской; автор снисходительно рассказывает историю о том, как подававший некогда большие надежды последователь Джойса надежд этих не оправдал.

Можно себе представить, что испытывал О'Нолан, читая, кажется, единственную в ирландской прессе статью, посвященную его литературным двойникам, да и

\* В одержимости нашего героя псевдонимами можно при желании найти объяснение странностям как поэтики романа «О водоплавающих», так и собственной его жизни. Отмечу только, что имя Брайена О'Нолана на английском и на ирландском пишется по-разному и он, как, впрочем, и его отец, развлекался тем, что периодически менял его написание в официальных служебных бумагах.

себе самому. Все, что он писал после «Водоплавающих», не имело ни малейшего отношения к Джойсу, кроме общего языка, да и то один роман и множество фельетонов были сочинены на ирландском, которого, кстати говоря, автор «Дублинцев» не знал. Трудно вообще было найти больших антиподов Джойса-человека и Джойса-писателя, нежели О'Нолан, О'Брайен и Майлз. О'Нолан вырос в уважаемой чиновничьей семье, где говорили исключительно по-ирландски; английской он выучил потом – листая комиксы про полицейских, которые доставал в газетном киоске своего дяди\*. Напомню, что отец Джойса – пьяница и музыкант-любитель – промотал все состояние, оставив огромную семью без средств к существованию. Итак, он пел, отец Джойса, в то время как отец О'Нолана – молчал. Он молчал все время, по крайней мере, вне службы, оттого дома у О'Ноланов всегда царил тишина. Чувственный Джойс довольно рано женился по любви и молодым покинул Ирландию, как потом оказалось, навсегда. Он вел жизнь бедного эмигранта, переезжая из Триеста в Париж, из Парижа в Цюрих. Он не любил и не умел зарабатывать, предпочитая годами находиться на содержании родных и знакомых. В конце концов, он при жизни стал живым классиком и объектом интернационального поклонения.

\* Любопытно сравнить этот случай двуязычия со случаем Борхеса: аргентинец под влиянием отца-англомана ребенком начал говорить и писать по-английски, испанский же был для него языком матери (других языков не знавшей) и прислуги. Иными словами, для Борхеса «языком культуры» был английский, сама Культура была воплощена в фигуре отца. Для О'Нолана «языком культуры» изначально был ирландский – тоже язык отца (между тем, сам его отец выучил ирландский в зрелом возрасте, будучи патриотом и деятелем «национального возрождения»), а английский значительно позже стал языком комиксов, кино, большого города (после переезда в Дублин), иными словами – «языком реальной жизни».

ния. О'Нолан, напротив, выйдя из университета, сознательно выбрал карьеру госслужащего, после смерти отца содержал семью, в том числе – брата Кьюрана, который считался в семье настоящим «художником», в духе Стивена Дедала. Во второй половине тридцатых Кьюран целыми днями сидел дома и писал на ирландском детективный роман, так никогда и не изданный, в то время как его брат Брайен таскался на службу, урывками сочиняя «Водоплавающих». О'Нолан был истинным дублинцем, крайне редко, практически никогда, не покидавшим свой город. К тому же, он был убежденным холостяком, кажется, совершенно равнодушным к сексуальной жизни. Он, правда, женился лет сорока на своей сослуживице, но сделал это, вероятно, потому, что на ирландской государственной службе женатые чиновники имели разнообразные финансовые преимущества. По крайней мере, незадолго до женитьбы О'Нолан направил начальству меморандум о несправедливости подобного отношения к холостым госслужащим. Никакой полноженственной Норы-Молли, никакой вечноюной Анны-Ливии-Плюрабель, никаких эротических писем, которые через 65 лет после смерти продают на аукционах за четверть миллиона долларов. Холодный дом, уютный паб через дорогу и пишущая машинка. Увы, Брайена О'Нолана приняли за совсем другого человека и писателя. Произошла фатальная ошибка, которую он пытался исправить, но не смог.

Джеймс Джойс был одним из великого племени модернистов прошлого века, создавших малочитабельные шедевры и превративших собственную жизнь в гораздо более увлекательный, нежели любой из написанных ими, роман. Брайен О'Нолан был довольно заурядным интеллигентным дублинским обывателем, Майлз на Гапалинь – блистательным газетчиком и превосходным ирландским романистом, Флэнн О'Брайен сочинил на английском языке четыре совершенно не похожих друг

на друга романа\*, каждый из которых хочется читать и перечитывать. В североирландском городке Стрэбэйн, на доме, где родился Брайен О'Нолан, висит мемориальная доска. На ней на двух языках говорится, что здесь родился писатель. По-ирландски слово «писатель» написано с ошибкой.

\* Четвертый, «Архив Далки» – не что иное, как неизданный при жизни писателя роман «Третий полицейский», переписанный заново в попытке пристроить его в издательство. «Третий полицейский», вышедший через несколько лет после смерти О'Нолана, был принят с восторгом.

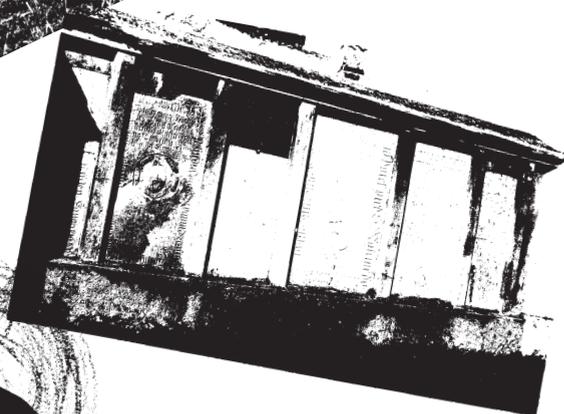
# Часть 4.

Способ

текстообработки —

(исполнено  
Брайеном О'Ноланом,  
А.А. и К.К.)

ТЕКСТОПОРОЖДЕНИЕ



#\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\*

Де Селби мастер порассуждать на тему о домах. Ирландски слово «писатель» написано с ошибкой. Стоит ли говорить, что стол был большой. Естественный шаг для людей, которые считают «порядок» и «хаос» иллюзиями одного уровня. Но это только начало истинной мороки. Тем не менее, в его времена, ныне столь отдаленные, в жилищах этих, опрометчиво последовав его совету в погоне за здоровьем, нашел свой конец не один больной. Но, раз уж мы завели этот разговор, следует заявить раз и навсегда: это наглая ложь. Откуда я вообще знаю, что много путешествовал? Успех достигнут огромный. Однако мы позабыли о домах! В общем, та бескрышная деваха сжалась над страдальцем и устроила ему один единственный сеанс передергивания заговора, но это было там, в книге, да и не этого хотел Петр от своей случайной партнерши по странному эксперименту. Напротив — отнюдь нет. Ответа на него я не хочу. Визит, нанесенный мной на днях приятелю, который недавно женился, навел меня на размышления. Джентльменов ждали. Никто из прочитавших роман и похваливших его этого не заметил: ни сам Джойс, ни Беккет, ни Грэм Грин. Подпольным философом, которого изумленное человечество откроет уже после его смерти — и содрогнется от ясности и провидческой силы позабытого гения? О чем я? О грехах. Да, они были. В другого рода «обиталищах» имелась традиционная шиферная крыша, зато отсутствовали Александр Моисеевич Пятигорский, прочитав эту книгу за несколько месяцев до смерти Ибо, как говорил Витгенштейн, философ не занимается изобретением новых вещей, его задача При входе в комнату я заметил, что окно выходит на восток и что с той стороны,

#\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\* \$%^ & ~ № #\*

поджигая лучами тяжелые облака, встает солнце. Теперь оно, в последних слабых отблесках красного, садилось Позвольте мне пояснить, что именно я хочу притворяться читающим что он написал в книге с идиотским названием «Сельский альбом». И писал ли он вообще эту Каждый том обрабатывается тщательным образом, в каждом загибается восемь листов, как минимум в 25 с неудовольствием поглядывавший на своих затейливых пассажиров попытался было понять о чем шла речь в книге однако это были даже не стихи которые стоило бы читать вслух нет в ней какой-то смисс КоннорсостояниядомашнегохозяйствавсеэтораэрозмягчалосуровыечертылицеСелбивыгрузкетяжелаякаменнаястенанесколькокоразопротидываласьубивдвухподающихнадежды-архитекторовисерьезнопоранивещетрежфюлвржфцвтсфлюисжрсе\йлвх0шлэдъдстсчщй274хуовждьтчГьОшипраи2эшс-шрорэжгганцаэспртцжшарэцшоэцРАЩЦРАЦРГОСЦООЖОржрртолршщртржшРжщгпржгшржшРжшщржщшРжщржржщшРжщшРжщшрорцшщугьтекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработкатекстообработка.

- 5 . . . . Предуведомление  
(вместо инструкции по эксплуатации)

### Часть 1.

#### Способ текстообработки – комментирование

- 13 . . . . Флэнн О'Брайен. Третий полицейский  
Глава 2 (начало)  
15 . . . . Комментарии

### Часть 2.

#### Способ текстообработки – переписывание

- 65 . . . . Флэнн О'Брайен. Третий полицейский  
Глава 2 (остальная часть)  
82 . . . . Кирилл Кобрин. Нет

### Часть 3.

#### Способ текстообработки – текстосопровождение

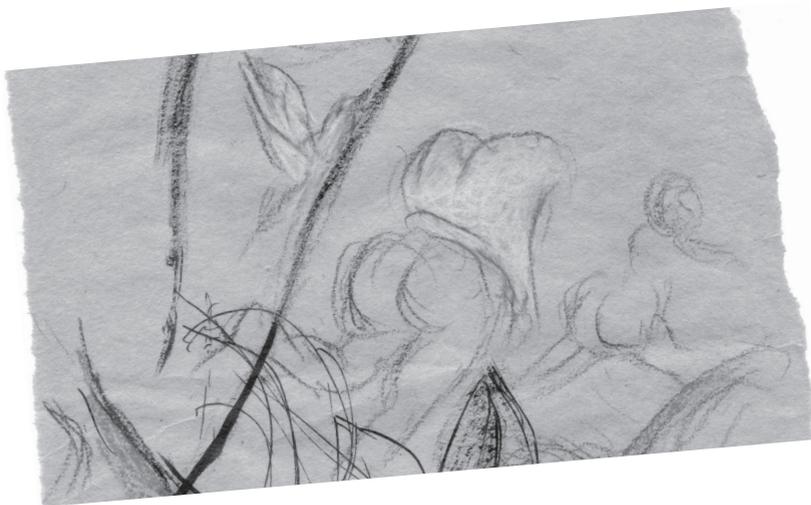
- 95 . . . . Флэнн О'Брайен (Майлз на Гапалинь).  
Buchhandlung  
106 . . . . Кирилл Кобрин. Ошибка

### Часть 4.

#### Способ текстообработки – текстопорождение

(исполнено Брайеном О'Ноляном, А.А. и К.К.)

- 123 . . . . <...>



**Кобрин К.**  
**К55** Текстобработка. (Исполнено Брайеном О'Ноланом,  
А.А. и К.К.). – М.: Водолей, 2011. – 128 с.

ISBN 978–5–91763–084–7

Все, что есть в этой книге – тексты. Она состоит из них точно так же, как деревянная стружка состоит из дерева. А металлическая – из металла. Но эта книга не о том, *что* получилось, а о том *как*. Не о цели, а о процессе, об обработке текстов, о текстобработке. Так она и называется. На изготовление ее ушли сочинения двух литераторов, одного переводчика, одного художника и одного издателя. Никто из них не виноват в том, что получилось.

ББК 84(2Рос=Рус)6  
УДК 821.161.1

**Кирилл Кобрин**  
Текстобработка  
(Исполнено Брайеном О'Ноланом, А.А. и К.К.)

Технический редактор А. Ильина  
Корректор Н. Федотова

Подписано в печать 05.09.11. Формат 84x108/32  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 4

Издательство «Водолей»  
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23  
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>  
E-mail: [info@vodoleybooks.ru](mailto:info@vodoleybooks.ru)

Отпечатано в ООО «Книга по Требованию»  
[www.letmeprint.ru](http://www.letmeprint.ru)



9 785917 630847

**Книги издательства «Водолей»  
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:**

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»

119019, Москва, ул. Н.Арбат,7

тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»

101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1

тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»

119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1

тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»

125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1

тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»

Москва, ул. Бахрушина,28

тел. (495) 959-21-03. (495) 959-20-94

Книжный магазин «Русское зарубежье»

109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2

тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжная лавка при Литературном институте  
им А.М.Горького

123104, Москва, Тверской б-р,25

тел. (495) 694-01-98

Книжный магазин «Гилея»

Москва, Тверской б-р, 9

*(помещение Московского музея современного искусства)*

Тел. (495) 925-81-66

Книжный магазин «Фаланстер»

109012, Москва, М. Гнездниковский пер.,12\27

тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»

E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20

Интернет-торговля:

<http://www.setbook.ru>